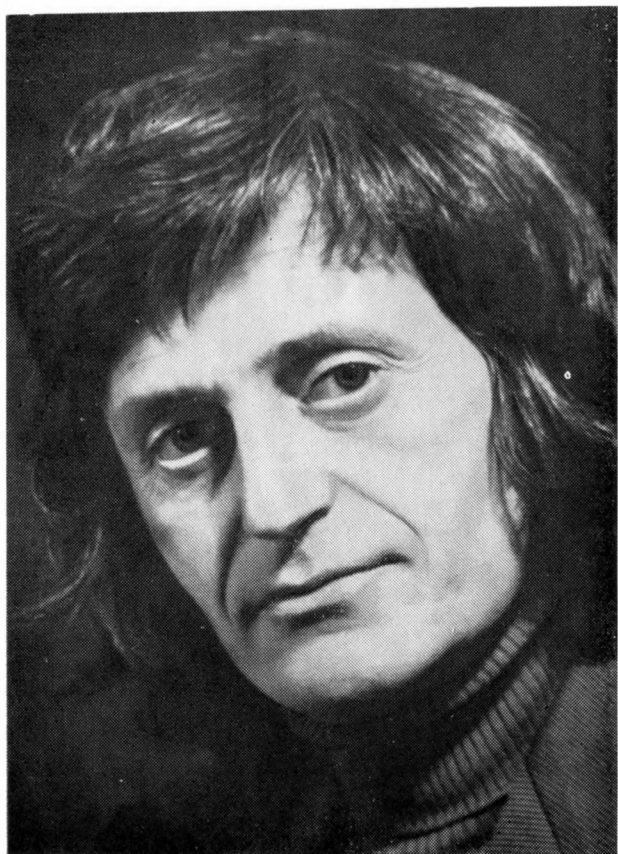


# ВИКТОР СОСНОРА

---

## СТИХОТВОРЕНИЯ





**В И К Т О Р  
С О С Н О Р А**

**СТИХОТВОРЕНИЯ**



**Л Е Н И З Д А Т - 1 9 7 7**

**Соснора В.**

С 66 Стихотворения. Л., Лениздат, 1977.

176 с., портр.

В книгу входят стихотворения из четырех предыдущих сборников поэта: „Январский ливень“, „Триптих“, „Всадники“ и „Аист“. В сборник включены также новые стихотворения.

С  $\frac{70402-010}{\text{М}171(03)-77}$  130—77

© Лениздат, 1977

1



# ЧЕЛОВЕК И ПТИЦА

## 1. ВОРОНА

Наехал на ворону грузовик.  
Никто не видел номера машины,  
но видели —  
изрядного размера.

Сперва она кричала,  
И не так  
она кричала,  
как деревья,—  
криком  
отчаянным, беззвучным, беззащитным  
под электропилой,—  
она кричала,  
перекрывая дребедень трамваев  
и карканье моторов!  
А потом  
она притихла  
и легла у люка  
железного  
и мудрыми глазами  
и мудрыми вороньими глазами  
внимательно смотрела на прохожих.  
Она —  
присматривалась к пешеходам.  
А пешеходы  
очень  
торопились  
домой,  
окончив труд на предприятиях.

## 2. МАЛЬЧИК

Он чуть не год копил на ласты деньги,  
копейками выкраивая деньги,  
из денег на кино и на обед.

Он был ничем особым не приметен.  
Быть может — пионер,  
но не отличник,  
и не любил футбол,

зато любил,

и очень сильно,  
маму, море, камни  
и звезды.

И еще любил железо.

В шестиметровой комнате устроен  
был склад — из гаек, жести и гранита.

Он созидал такие корабли —  
невиданных размеров и конструкций.

Одни —

подобные стручкам акаций,

другие —

вроде окуня,

а третьи —

ни одному предмету не подобны.

Жил мальчик в Гавани.

И корабли пускал

в залив.

Они тонули.

А другие —

космические —

с крыши — космодрома —

в дождливый, серый, ленинградский космос  
он запускал.

Взвивались корабли!

Срывались корабли.

Взрывались даже.

И вызывали волны возмущенья

у пешеходов, дворников и прочих.

Он чуть не год копил на ласты деньги.

Но плавать не умел.

«Что ж, будут ласты,—

так думал он,—



и научусь.

Ведь рыбы...

И рыбы тоже не умели плавать,  
пока не отрасли плавники».

Сегодня утром говорила мама,  
что денег

не хватает на путевку,  
а у нее — лимфаденит с блокады,  
а в долг —

нехорошо и неудобно.

Так мама говорила, чуть не плача.  
Он вынул деньги и сказал:

— Возьми.

— Откуда у тебя такие деньги?

— Я их копил на ласты. Но возьми,  
я всё равно ведь плавать не умею,  
а не умею —

так зачем и ласты?

### 3. ВОРОНА И МАЛЬЧИК

— Давайте познакомимся?

— Давайте.

— Вас как зовут?

— Меня зовут — Ворона.

— Рад познакомиться.

— А вас?

— Меня?

Вы не поймете...

А зовите — Мальчик.

— Очень приятно.

— А давайте будем  
на «ты»...

— Давайте.

— Слушай-ка, Ворона,  
а почему тебя зовут — Ворона?  
Ты не воровка?

— Нет, я не воровка.

Так мальчик вел беседу,  
отвечая  
на все свои вопросы  
и вороньи.

- А почему ты прилетела в город?  
 — Здесь интересно:  
 дети, мотоциклы.  
 Ведь лес — не город.  
 Нет у нас в лесу  
 и ни того и ни другого.  
 Слушай,  
 ты лес-то видел?  
 — Видел, но в кино.  
 Ведь лес —  
 это когда кругом деревья.  
 И мох.  
 Еще лисицы.  
 И брусника.  
 Еще грибы...  
 Послушай-ка,  
 а если  
 тебя кормить, кормить, кормить,  
 ты будешь  
 такой, как межпланетная ракета?  
 — Конечно, буду.  
 — Так.  
 А на Луну  
 случайно  
 не летала ты, Ворона?  
 — Летала, как же.  
 — У, какая врунья!  
 Вот почему тебя зовут — Ворона.  
 Ты —  
 врунья.  
 Только ты не обижайся.  
 Давай-ка будем вместе жить, Ворона.  
 Ты ежедневно будешь есть пельмени.  
 Я знаю — врешь,  
 но все равно ты будешь  
 такой,  
 как межпланетная ракета.
- Так мальчик вел беседу,  
 отвечая  
 на все свои вопросы  
 и вороньи.  
 На Марсовом цвела сирень.



## МОЙ ДОМ

Дом стоял на перекрестке,  
напряжен и мускулист,  
весь в очках,  
        как перед кроссом  
чемпион-мотоциклист.

Голуби кормились мерно,  
на карнизах красовались.  
Грозные пенсионеры  
вдоль двора крейсеровали.

Вечерами дом думал,  
сметы составлял, отчеты,  
и —  
        внимательные дула —  
        наводил глаза ученых,  
        дула — в космос розоватый!  
А под козырьком у дома  
разорялась, раздавалась,  
радовалась радиола.

Там бутылки тасовали,  
под пластинки танцевали,  
эх, комично танцевали,  
выкаблучивались!

Я в одном из окон дома  
домогаюсь новой строчки.  
Я хотел бы стать домом  
напряженным и строгим.  
Танцевать комически  
на чужой гульбе,  
плакать под космический  
гул голубей.

1962



## ПЕРВАЯ КАПЛЯ

Небо —  
палевая калька.  
С неба упала  
первая капля.

Первая капля.  
Капля-карлик.

Зарокотала  
и покати́лась  
и по кварталам,  
и по квартирам...

Товароведы из «Гипропитанья»  
в каплю швыряли ручки, рейсшины,  
даже автобусы-гиппопотамы  
каплю давили рубчатой шиной.

Каплю пытались выпить из ложки  
экс-пациентки крымских купален.  
Противокапельные галоши  
все покупали,  
все покупали!

Но, несмотря на репрессии жаркие,  
Капля выросла, крепла, мужала.

Капля плескалась, —  
рыба форель! —  
вздулась —  
превыше троллейбусных тросов.  
Дотронься —  
и лопнет!

И — апрель!  
Только  
дотронься!

1960



Цветет жасмин.  
А пахнет жостью.  
А в парках жерди из железа.  
Как селезни скамейки.  
Желчью  
тропинки городского леса.

Какие хлопья! Как зазнался!  
Стою растерянный, как пращур.  
Как десять лет назад —  
в шестнадцать —  
цветет жасмин.  
Я плачу.

Цветет жасмин. Я плачу.  
Танец  
станцован лепестком.  
А лепта?

Цветет жасмин!  
Сентиментальности!  
Мой снег цветет в теплице лета!  
Метель в теплице!  
Снег в петлице!  
А я стою, как иже с ним.  
И возле  
не с кем  
поделиться.

Цветет жасмин...  
Цвети, жасмин!  
1962

## ДВОРНИК

*Г. Горбовскому*

Быть грозе!  
И птицы с крыш!  
Как перед грозой стриж,  
над карнизом низко-низко  
дворник наклонился.  
Еле-еле гром искрит,  
будто перегружен.  
Черный дворник!  
Черный стриж!  
Фартук белорудый.

Заметай следы дневных  
мусорных разбоев.  
Молчаливый мой двойник  
по ночной работе.

Мы привычные молчать.  
Мамонтам подобны,  
утруждаясь по ночам  
под началом дома.  
Заметай! Тебе не стать,  
раз и два и сто раз!

Ты мой сторож!  
Эй, не спать!  
Я твой, дворник,  
сторож.

Заметай! На все катушки!  
Кто устойчив перед?  
Мы стучим, как в колотушки,  
в черенки лопат и перьев!

— Спите, жители города.  
Всё спокойно в спящем Ленинграде.  
Всё спокойно.

1962



## ПОЛНОЧЬ

А тени возле зданий,  
тени —  
прочерченные криво  
границы.  
Взгляни туда-сюда:  
антенны —  
завинченные в крыши  
грабли.

Сырая колобаха  
ветер!  
А дворников берет  
зевота.  
Как плети Карабаса  
ветви.  
И всё наоборот  
сегодня.

Луна,  
а на граните  
сухо.  
Волна — невпроворот! —  
лучится.  
Бывает: на границе  
суток  
всё ждешь: наоборот  
случится.

Вороны, как барбосы,  
лают,  
и каркают собаки  
грозно.  
Ты ничего не бойся,  
лада.  
Всё это — байки.  
Просто — проза  
моих сомнений.  
Соль на марле!

К утру мои просохнут  
весла.

И утром будет всё  
нормально,  
как всё, что утром,  
всё,  
что звездно!

*1961*

## ТРАМВАИ

Мимо такси —  
                                          на конус фары!  
Мимо витрин и мимо фабрик —  
гастрономических богинь,  
трамваи — красные быки,  
бредут —  
                                         стада,  
                                         стада,  
                                         стада.  
Крупнорогатый скоп скота.

В ангары! В стойла!  
                                         В тесноте,  
чтоб в смазочных маслах потеть,  
чтоб каждый грамм копыт крещен  
кубичным, гаечным ключом!  
Тоску ночную не вмещать —  
мычать!

Вожатый важен, как большой:  
вращает рулевой вожжой!  
Титан —  
                                         трамваи объезжать!

Я ночью не сажусь в трамвай.  
Не нужно транспорт обижать.  
Хоть ночью —  
                                         обожать трамвай.

У них, быков  
                                         (как убежать  
в луга?),  
                                         сумели всё отнять.  
Не нужно транспорт обижать.  
Пусть отдохнет хоть от меня.

1962

## БУДИЛЬНИК

Трамвай прошел, и шум замолк.

Что делать?

Ждать?

Уйти ли?

Уйти,

взломав дверной замок,  
разбив о печь будильник.

От комнатных идиллий

уйти

и на мосту

курить.

Стучит будильник —

подробный,

ровный стук.

Будильник.

Стрелки сложены,

приклеились к двенадцати.

То — стрелки,

и положено

в двенадцать обниматься им.

То стрелки.

Им не трудно

встречаться ежечасно,

встречаться на секунду

и вновь на час прощаться.

А мы и на секунду

встречаемся не часто,

и даже очень трудно

нам всякий раз прощаться.

*1958—1959*



Фонари опадают.

Опадают мои фонари.

Целые грозди электрических листьев  
примерзают к уже не зеленой земле.

Эти листья

на ощупь — неощутимы

(это листья моих фонарей!),

по рисунку — негеометричны,

по цвету — вне цвета.

Без единого звука

листья моих фонарей

примерзают к уже не зеленой земле.

А деревья, к примеру, опадают не так.

Как они опадают!

Ах, как обучились деревья

опадать! Как вызубрили осень —

от листка до листка,

от корки до корки!

И когда опадают деревья —

выявляй, проходящий, запасы печали!

---

Незаметно для всех опадают мои фонари.

Но они опадают —

я-то знаю,

я вижу.

1962



на деле где-то,  
а нигде.  
Осмысливаешь тишь.

И дела нет до прочих дел.  
И ты давно в ряду  
с зеленым заревом дождей,  
которые придут!

*1960*

## ЛЕТНИЙ САД

Зима приготовилась к старту.  
Земля приготовилась к стуже.  
И круг посетителей статуй  
всё уже,  
и уже,  
и уже.

Слоняюсь — последний из крупных  
слонов —  
лицезрителей статуй.

А статуи ходят по саду  
по кругу,  
по кругу,  
по кругу.

За ними хожу, как умею.  
И чувствую вдруг —  
каменею.

Еще разгрызаю окурки,  
но рот костенеет кощеем,  
картавит едва:  
— Эй, фигуры!

А ну, прекращайте хождение  
немедленным образом!  
Мне ли  
не знать вашу каменность, косность.

И все-таки я — каменею.  
А статуи —  
ходят и ходят.

1962





Комнату нашу оклеили.  
И потолок побелили.  
Зелень обойных растений.  
Обойные это былинки.  
Люстра сторукая  
в нашей модернизированной келье.  
Так охраняли Тартар  
сторукие гекатонхейры.  
Мы приручили сову.  
К мышлению приучили.  
Качественны мысли у птички.  
Много их — не перечислить.  
Правильны мысли у птички.  
Правильны — до зевоты.  
Наша семья моногамна.  
Сосуществует сова  
третьим домашним животным.  
Что ты, жена? Штопаешь  
или носки шерстяные куёшь,  
приподнимая иглу,  
как крестоносец копье?  
Скоро дожди. Пошевелят мехами.  
На зиму в берлоги осядут.  
Скоро зима. Окна оклеим.  
Выдюжим трое осаду.  
Так обсуждаем мы неторопливо  
неторопливые планы...

---

Белое, влажное небо над нами пылало!

1963

## ОКТАБРЬ

Октябрь.

Ох, табор!

Трамваи скрипучи —

кибитки, кибитки!

Прохожие цугом —

цыгане, цыгане!

На черном асфальте —

на черной копирке  
железные лужи лежат в целлофане.

Октябрь!

Отары

кустарников —

каждый сучочек отмечен.

Стригут неприкаянных, наголо бреют.

Они — по-овечьи,

они — по-овечьи

подергивают животами и блеют.

Вот листьям дадут еще отпуск на месяц:  
витайте!

Цветите!

Потом протоколы

составит зима.

И всё будет на месте:

достойно бело,

одинаково голо.

1962

## ПЕРВЫЙ СНЕГ

Первый снег.

Пересмех

перевертышей-снежинок  
над лепными урнами.  
И снижение снежинок  
до земного уровня.

Первый снег.

Пар от рек.

В воду — белые занозы.  
Как заносит велотрек,  
первый снег заносит.

С первым снегом!

С первым следом!

Здания под слоем снега

запылают камельками.

Здания задразнит небо:

эх вы камни, камни, камни! —

А по каменным палатам

ходят белые цыплята,

прыгают —

превыше крыш!

Кыш!

Кыш!

Кыш!

1961



Снег летит  
и сям  
и там,  
в общем, очень деятельно.  
Во дворе моем фонтан,  
у фонтана дети.

Невелик объем двора —  
негде и окурку!

У фонтана детвора  
ваяет Снегурку.  
Мо-о-ро-оз!  
На снегу  
чугунеет резина!  
Хоть Снегурка ни гу-гу,  
но вполне красива.

Дети стучают легонько  
мирными сердцами,  
создают из аллегорий  
миросозерцанье.

У детей такой замах —  
варежки насвистывают!

А зима?  
Ну что ж, зима!  
Пусть себе воинствует!

1961



**вдвоем...  
поражаться...**

**Да разве каток?  
Это —  
Праздник Румянца!**

*1960*

## АЛЛЕИ

Небо заалело.  
В городе, как в зале,  
гулко.

Но аллеи,  
видимо, озябли.

Приклонили кроны  
к снегу-олову,  
жалуются громко:  
— Холодно, холодно.  
Уж такая стужа  
справа и слева,  
в мире — стужа! —  
тужат  
дубовые аллеи.

Эх вы, плаксы, плаксы,  
вы,  
дубы-коряги!  
Не точите лясы.

Я вас уверяю:  
кажется вам,  
                                  будто  
ни крупницы солнца.  
Будет май.  
И будет  
Солнечная Зона,  
Солнечное Лето,  
Солнечная Эра!

Слушают аллеи.  
Верят  
и не верят.

1960

## ГОЛОЛЕДИЦА

А вчера еще,  
                                вчера  
снег выкидывал коленца.

Нынче улица черна —  
го-ло-ле-дица.

Холод.  
                                У вороны лёт —  
будто из больницы.  
Голо.  
                                Всюду голый лёд —  
без единой ниточки.

Лед горланит:  
— Я — король!  
Всё вокруг моей оси.  
Солнце — кетовой икрой.  
Это я преобразил!

На морозе башмаки  
восторженно каркают:  
это ходят рыбаки  
по зеркальным карпам.  
От меня блестит заря!  
И прокатные станы!  
Это ходят слесаря  
по легированной стали!

Дети ходят в Летний сад  
по леденцам! —



И сулит король-обманщик  
бесчисленные горы.

Но когда-то крикнет мальчик,  
что король-то  
голый!

*1961*

## УЗОРЫ

Узор мороза вроде бы разумен.  
Разнообразны образы растений,  
а больше —

папоротникообразны,  
бывают листья  
и стволы — что горла  
и водоросли — волосы мороза!

Изгибы узких листьев,  
ширина  
кувшинок,

нерешительность былинок,  
даже пыльца на темени тычинок, —  
всё это образовано морозом.  
Я подглядел на фортке гладиолус.  
На долгом стебле —

колокольной формы  
цветы.

Ударил ногтем по стеклу —  
колокола шатнуло!

Загудели  
различными оттенками полудня,  
который был

то алым,  
то лиловым,  
малиновым, то  
бледно-синим был.

Законсервированная природа  
гудела! Подражая гулу той,  
которая действительно гудит.  
И всё же я испытываю жалость  
к стекольным кристаллическим

растеньям.  
Испытываю.

Но не проявляю.  
И правильно, что я не проявляю:

нет  
у растений  
почвы.  
Потому  
и жалость к ним —  
беспочвенная жалость.  
Ведь весь узор —  
до первого грача,  
до первого дыхания грачихи  
хохочущей!  
Дохнуло на стекло —  
узор поплыл!  
Сквозь голое стекло  
увидишь чье-то логово,  
всю зиму  
прикрытое узорной занавеской  
из листьев замороженной природы.

1962



Багровый снег, багровый снег,  
багровый!  
Иду — по крови будто бы иду.  
Иду по корке снежного покрова,  
один иду,  
встречая день на льду.

Но где же Полюс,  
где же Полюс,  
где же?  
Всё те же льды,  
обрюзгшие моржи.  
И, веки смежив,  
хочется в одежде  
упасть,  
лицом зарыться в снежный жир.

Железным будь, железным будь,  
железным!  
Пусть путь —  
без губ любимой, без костра,  
без трав полезных,  
компасов любезных, —  
ищи свой Полюс  
и топчи свой страх.

Железным будь!  
Сжав челюсти до боли,  
скользи,  
ползи,  
но — верь,  
что —  
будет Полюс!

1956

# ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ

## 1. ЗАБЛУЖДЕНЬЕ

Дрогнет у дороги  
старикан кустарник...

Синие сугробы,  
синие кристаллы,  
синие сугробы  
в лунных переливах,  
а лыжня в сугробах —  
просто пара линий.

Лыжи лижут ловко  
плавные сугробы,  
лыжи, словно лодки,  
плавают в сугробах  
по вороньим лапкам,  
по волокнам сена...

Тише...  
Лают лайки,  
лайки Амундсена...

Дробный и торопкий  
перестук на спуске...  
Это же на тройке  
Александр Пушкин!

Их манит виденье  
снежных аномалий.  
Это —  
    заблужденье.  
Я-то понимаю:  
это заблужденье  
вследствие блужданий  
по январским дебрям,  
то долинам дальним.

На полях суровых  
ничего не слышно...  
Лишь скрипят сугробы  
да струятся лыжи.

## 2. АЛЛЕЯ КЕРН

— Когда и кем,  
когда и кем  
название «аллея Керн»?

Попросвещать! Еще!  
Насчет  
чего бы?

Сам не свой  
красноречив и краснощек  
экскурсовод.  
Прискорбно, будто сам погиб,  
лепечет про дуэль,  
какой подметки сапоги,  
чем запивал, что ел,  
какой обложки первый том,  
количественность ласк,  
пятьюжды восстановлен дом,  
а флигель няни — раз...

Когда и кем,  
когда и кем  
название «аллея Керн»?

Вещественны заплаты лип,  
цементность на руке.  
Был Пушкин, дом, аллея

и  
мгновенье —  
но не Керн!

3. 29 января 1837 года, 2 часа 45 минут пополудни

А над Петербургом белели морозы.  
Чиновники, лавочники, студенты.

— Моченой морошки!  
Моченой морошки! —  
кричали на Невском,  
на Мойке  
и где-то.

— Моченой морошки! —  
скакали с кульками.

Кто первый?..

— Умрет...

Хоть немножко...

До завтра...

Тревога росла,

напрягалась курками

взведенными —

резко —

как ярость Данзаса.

— Не мстить за меня. Я простил.—

В шарабанах,

в трактирах, в хибарах

сумеют, посмеют

простить императора,

шалолая,

жену —

для детей, для изданий посмертных.

Две ягодки съел.

Розоватое мясо

с кислинкой.

Затверженно улыбаясь,

жену утешает. Наталью.

Неясно,—

что Пушкин — один.

Гончарова — любая.

— Жизнь кончена? — Далю.

Даль:

— Что? Непонятно.

— Жизнь кончена.

— Нет еще...

Шепотом-криком:

— Прощайте, друзья.

Всё.

— Жизнь кончена,— внятно.—

Прощайте, друзья! —

Ну конечно же книгам.

— Дыханье теснит...

А кому не теснило

поэтам?

Разве которые — ниц.

И только предсмертно, как будто приснилось,

вслух можно:

— Дыханье теснит.

Виденье последнее.—

Радостно — Далю:

— Пригрезилось, будто на книжные вышел  
на полки. Лечу! Выше!

Книжные зданья.

Лечу. Небо в книгах.

Но выше,

но выше.

Легенда была.

Не из главных. Середка.

В привычку она,

в повседневность вменяла

во все времена обязательность взлета

над книгами,

небом над,

над временами.

#### 4. СВЯТОГОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

А снежинки — динь-динь-динь —  
клювами в окно.

Я в гостинице один.

Кто на огонек?

Друг ли, недруг — обниму,

выпьем, в разговоры.

Только бы не одному

возле Святогора.

Первый богатырь!

Гора

первая.

Вершина!

Гири желтые горят —

под окном снежины.

Под окном кустарник тощ —

скрип да скрип! — надсадно.

Вот в такую ночь — точь-в-точь —

гроб везли на санках.

Снег валился наповал —

на спину!

Наверно,



сам фельдъегерь напевал  
«Чудное мгновенье»...

Ночь как Вий.

А Вий как ель —  
дремучие ветки.

Поднимите веки ей!  
Поднимите веки!

Ведь под веками глаза  
голубые,

солнечные!

Виноград,

голоса

голубей,

сосны!

Ночь обязана понять,—  
поднимите! Выше!

Только некому поднять.  
Легче так.

Привычной.

Реет...

Захватило дух...

Реет снег...

О, рей!

Две могилы  
первых двух  
на одной горе —  
супротив одной орды  
рядом полегли.

Я в гостинице один.  
Гость я. Пилигрим.  
Поклоняюсь всем, что есть —  
первым!

Жгу окно.

Завтра станция. Отъезд.  
Кто на огонек?

1960—1961



Сколько используешь калорий  
для зарифмованного бреда?

Как распрямляешь кривую крови  
своих разноплеменных предков?

Каких подонков караулишь?  
Как бесподобен с королями?

Как регулируешь кривую  
своих каракулей,  
кривляний?

Как удаляешь удобрения  
с опять беспутного  
пути?

---

Гудят глаголы, как деревья  
промерзшие,  
и в хлопьях птиц!

1963

# САД

1

Прекрасен сад, когда плоды  
созрели сами по себе,  
и неба нежные пруды  
прекрасны в сентябре.  
Мой сад дождями убелен.  
Опал мой самый спелый сад,  
мой самый первый Аполлон,  
мой самый умный сад.

2

Летайте, листья!  
До земли  
дотрагивайся, лист! Замри!  
До замерзання — до зимы —  
еще сто доз зари.  
Отгоревал сад-огород,  
мой многолапый сад-кентавр,  
а листья, листья — хоровод  
из бронзовых литавр.

3

Лимит листвы в саду моем?  
В студеных дождевых щитах  
плывут личинки,  
их — миллион!..  
Я прежде не считал.  
Любой личинке бил челом...  
Но вечно лишь одно число.  
Число бессмертно, как вино —  
вещественно оно.



||



## КОГДА НЕТ ЛУНЫ

Одуванчики надели  
белоснежные скафандры,  
одуванчики дудели  
в золоченые фанфары!

Дождевые вылезали  
черви, мрачные, как маги,  
одуванчики вонзали  
в них свои стальные шпаги!

Паучата-хулиганы  
мух в сметанницы макали,  
после драки кулаками  
маки мудрые махали.

И мигала баррикада  
яблок  
в стадии борьбы  
с огуречною бригадой!  
Барабанили бобы!

Полям — полям — бездорожьем  
(борозды наклонены)  
пробираюсь осторожно,  
в бледном небе —  
ни луны.

Кем ее  
огонь растерзан?  
Кто помирит мир бездонный,  
непомерный мир растений,  
темнотой загроможденный?

1963

## ПОЭМА



Розы —  
обуза восточных поэтов,  
поработившие рифмы арабов  
и ткани.

Розы —  
по цвету арбузы,  
по цвету пески,  
лепестками  
шевелиющие,  
как лопастями турбины.

Розы —  
меж пальцев — беличья шкурка,  
на языке — семя рябины.

Розы  
различны по температуре,  
по темпераменту славы,  
а по расцветке  
отважны,  
как слалом.

Черные розы —  
черное пиво,  
каменноугольные бокалы.

Красные розы —  
кобыльи спины  
со взмыленными боками.

Розы  
в любом миллиграмме чернил  
Пушкина, Шелли, Тагора.

Но уподобилась  
работорговле  
розоторговля.

В розницу розы!  
Оптом!

На масло,  
в таблетки для нервов!



Нужно же розам  
«практическое примененье».  
Может,  
и правильно это.  
Нужны же таблетки от боли,  
как натюрморты нужны  
для оживленья обоев.  
Правильно всё.  
Только нужно ведь печься  
не только о чадах и чае.  
Розы как люди.  
Они вечерами печальны.  
И на плантациях роз  
такие же планы, субботы.  
Розы как люди.  
С такою же солнечной,  
доброй,  
короткой судьбою.



О чем скорбели пескари?  
О чем пищали?  
Был от зари и до зари  
жирен песчаник.  
Не жизнь, а лилиевый лист.  
Балы. Получки.  
Все хищники перевелись.  
Благополучье.  
Кури тростник.  
Около скал  
стирай кальсоны.  
А в кладовых!  
Окорока  
стрекоз копченных!  
А меблировка!  
На дому —  
о, мир! О, боги!  
Из перламутра, перламут-  
ра все обои!  
Никто не трезв,  
Никто не щупл,  
все щечки алы...  
Но только не хватало щук,  
зубастых,

наглых,  
чтоб от зари и до зари,  
клыки ломая...  
Блаженствовали пескари.  
Не понимали.



Так давно это было,  
что хвастливые вёроны даже,  
сколько ни вспоминали,  
не вспомнили с точностью дату.

Смерчи так припустили,  
такие давали уроки!  
Вырос кактус в пустыне,  
как всё,  
        что в пустыне,  
                                уродлив.

А пустыня —  
пески, кумачовая крупка.  
Караваны  
благоустраивались на привалах.  
Верблюды  
глазели на кактус  
с презрительным хрюком:  
не цветок, а ублюдок! —  
и презрительно в кактус плевали.

Вечерами шушукались,  
вовсе не склонные к шуткам,  
очкастые змеи:  
— Нужно жалить его.  
Этот выродок даже цвести не умеет.—

Кактус жил молчаливо.  
Иногда препирался с ужами.  
Он-то знал:  
он настолько колюч,  
что его невозможно ужалить.  
Он-то знал:  
и плевки, и шипенье — пока что.  
Он еще расцветет!  
Он еще им докажет! покажет!

Разразилась жара.  
И пустыню измяли самумы.  
И арыки оазисов  
сделались мутными.

Убежали слоны в Хиндустан,  
а верблюды к арабам.  
И барахталось стадо  
барханных орлов  
и орало,  
умирая,  
ломаю крылатые плечи  
и ноги.

Эти ночи самумов!  
Безмлечные ночи!

Опустела пустыня.  
Стала серой, голодной и гулкой.  
Ничего не осталось:  
ни сусликов, ни саксаулов.  
И тогда, и тогда, и тогда —  
видно, время шутило —  
кактус  
пышно  
расцвел  
над песчаным запущенным штилем.

Он зацвел,  
он ворочал  
багровыми лопастями.  
Все закаты бледнели  
перед его лепестками.

Как он цвел!  
Как менялся в расцветке!  
То — цвета айвы,  
то — цвета граната.  
Он, ликуя, кричал:  
— Я цвету!  
Мой цветок —  
самый красный и самый громадный  
во вселенной! —

Кактус цвел!  
И отцвел.







В страницах клумбовой судьбы  
несправедливость есть:  
одни цветы —

чтобы любить,

другие —

чтобы есть.

Кто съест нарциссы?

Да никто.

И львиный зев не съест.

Уж лучше жесть или картон,—

и ставь на жизни —

крест.

Кто любит клевер?

Кто букет

любимой подарит

из клевера?

Такой букет

комично подарить.

Но клевер ест кобыла —

скок! —

и съела из-под вил.

Но ведь кобыла —

это скот.

Нет у нее любви.

Не видеть клеверу фаты.

Вся жизнь его —

удар.

Гвоздика —

хитрые цветы.

И любят и едят.

Но чаще этих хитрецов —

раз! —

в тестовый раствор.

А розы

любят за лицо,

а не за существо.



Я не верю дельфинам,  
эти игры — от рыбьего жира.  
Оттого, что всегда  
слабосильная сельдь вне игры.

У дельфинов  
малоподвижная кровь  
в склеротических жилах.  
Жизнерадостность их —  
от чужих животов и икры.

    Это резвость обжор.  
    Ни в какую не верю дельфинам,  
    грациозным прыжкам,  
    грандиозным жемчужным телам.  
    Это — кордебалет.  
    Этот фырк,  
    эти всплески — для фильмов,  
    для художников,  
    разменявших на рукоплескания красок  
    мудрый талант.

**Музыкальность дельфинов!**

Разве  
после насыщенной пищей недели  
худо слушать кларнет?  
Выкаблучивать танец забавный?  
Квартируются в море,  
а не рыбы.

Летают,  
а птицами стать нет надежды.  
Балерины — дельфины,  
длинноклювые звери  
с кривыми и злыми зубами.

1961





## НОВОРОССИЙСКАЯ НОЧЬ

Мир умиротворился.  
Ночь.  
Огни, как зерна риса.  
                                Ночь.  
Над Новороссийском  
                                ночь.  
Черна невыразимо  
                                ночь.

А море — гоноболь.  
                                Стекло.  
Прожектор — голубой  
                                циклоп.  
Пять рыбаков — пять бурок  
                                в лодке.  
А ну, раздвинет буря локти?  
Пять рыбаков.  
Пять бурок — стяг.  
Кобенится мотор-кабан.  
В прожекторе-луче блестят  
пять лиц —  
пять голубых  
камбал.

*1960*

## РОЖДЕНИЕ

Миллион пластин голубых  
от луны  
по волнам пляшут.  
Валуны — голубые лбы,  
валуны — оккупанты пляжа.

Под луной  
крупчатка песка  
различима до деталей.

В первый раз ты вот так близка.

Ты похожа на неандерталок.

Бередя бахрому кудрей,  
заслонив ладонями очи,  
собирались они у морей,  
попирая пещеры отчьи.

Забирали они мужчин  
на песках,  
а не за пирами,  
на песках,  
у морей!

Молчи!  
Я читал — они забирали.  
Бьет волна.  
Каждый бой волны —  
что полночных курантов бой.  
Будто кто-то ведро луны  
невзначай пролил над тобой,  
на тебя,  
на сплетенье ног,  
на упругость грудей раздетых.

Помолчи.  
Это — наша ночь!

Наша первая ночь —  
рождение.

*1960*

## СТАРИК И МОРЕ

Если нырнуть в первую прибрежную волну и вынырнуть со второй, то как бы ни был силен пловец, его неизбежно унесет в море.

Их было двое:  
старик и море.

А пена —  
розовая  
пряжа!  
А брызги —  
розги,  
а брызги —  
пряжки!  
Прожектора уже умолкли.

Их было двое:  
старик и море.  
И дело двигалось к рассвету.  
Песчаник —  
желтизна и глянец.  
Первоначальный луч-разведчик  
по волнам расплывался кляксой.

Как окрыленно  
взмывали воды!  
Валы-рулоны,  
Рулоны —  
ордами  
на берег  
маршировали  
друг за другом,  
горбатый берег  
бомбардируя.

Их было двое:  
старик и море.

Старик  
в брезенте, как в скафандре,

старик  
в резине, как в ботфортах,  
старик был сходен с утиль-шкафами  
по приземленности,  
по форме.  
Нос ромбом.  
Желваки шарами.  
Щетина — частокол на скулах.  
Щеку перекрестили шрамы —  
следы пощечины акулы.

Старик предчувствовал:  
неделя,  
от силы — год,  
и он не сможет  
севрюжин, сумрачных, как дебри,  
приветить старческой кормежкой.  
Ему привиделось:  
в больнице  
старик жевал диетпитанье.  
И ржали сельди-кобылицы,  
и каблуками его топтали.

Чужие сети  
сидлали  
сельди.  
Галдело  
море —  
во всей гордыне!  
И молодые вздымали сети.  
Гудели мускулы,  
как дыни.

На берегу канаты.  
Канты!  
на мотоботах.  
Крабы — стадо!

Старик шагнул в волну, как в хату.  
И всё.  
И старика не стало.

Как окрыленно  
взмывали воды!  
Валы — рулоны!

Рулоны —  
орды!

А пена —  
розовая

пряжа!

А брызги —  
розги!

А брызги —  
пряжки!

И всё равно  
их было двое:

Старик  
и Море!

1960

## ФОНТАН СЛЕЗ

Бахчисарай! Твой храбрый хан  
в одно мгновенье обесценил  
монеты римлян и армян  
и инструменты Авиценны,

он прибывал славян к столбу  
гвоздями белыми Дамаска.  
Отнюдь не мнительный Стамбул  
молился узкоглазой маске.

Бахчисарай!  
Твой хан Гирей  
коварно и кроваво правил.  
Менял внимательно гарем  
и слезы на металлы плавил.

Всё — мало. Только власть любил.  
Всех юношей страны для страху  
убить задумал —  
и убил;  
оставил евнухов и стражу.

Под ритуальный лай муллы  
взлетали сабли ястребами,  
мигала кровь, как солнце мглы;  
младенцев сабли истребляли.

Прошло еще двенадцать зим.  
Двенадцать лун ушло в преданье.  
Хан постарел. Татарский Крым  
жирел оружием и плодами.

Прошло еще немало зла...  
Хан правил пир в стеклянных залах,  
и к хану женщина пришла;  
она пришла  
и так сказала:

— Тебя никто не мог любить.  
А я одна тебя любила.  
А нужно было бы убить.  
Прости меня, что не убила.  
Повелевал ты, но — аллах! —  
легко повелевать слезами,  
я много лет таила страх;  
я умираю,  
и сказала.

Она была бела, как бред,  
как струйка бедная.  
Не знали  
ни имени ее, ни лет;  
ее в гареме не назвали.

Сам хан лекарствами поил.  
Мурзы мигали:  
невозможно!  
Старик наложницу любил,  
которую не знал на ложе.

Она в субботу умерла.  
Приплыл ясак. Носили яства.  
Неслось на яликах «ура!».  
Задумчив был Гирей и ясен.

Он слуг судил — не осудил.  
Молчали эшафоты Крыма.  
Наложниц не освободил,  
но и не пользовался ими.

Он совершил обряды сам,  
сам в саван завернул, шатаясь,  
надгробный камень сам тесал;  
тесал,  
а евнухи шептались.

Он положил под камень клад,  
и не было богаче клада,  
он вырезал на камне глаз,  
и слезы падали из глаза.

— Аллах, — сказал он, — больше звезд  
в моей судьбе уже не светит.



Да буду я фонтаном слез!  
— Да будешь,— так аллах ответил.

. . . . .

Когда узнал Бахчисарай,  
татары сети развивали,  
к утру утих собачий лай,  
все  
очаги разогревали.

Торговец стриг своих овец.  
У тиглей хлопотал кузнец.

Жемчуголов ловил свой перл.  
Рабы свою баржу смолили.

Лишь муэдзин молитву пел  
и поздравлял татар с молитвой.

*1965*

## ТРАКТОРИСТКА

Тамбур с табуретку —  
крошечный.

В тамбуре беретки,  
брошки.

И сквозняк столбальный  
дых,

дых!

В тамбуре  
столбами  
табачный  
дым.

Цыганка сигарку  
мусолит, рвет...

Ох и цыганка

Баба —

во!

Баба — барабан  
в барбарисках бус,  
баба —  
Жар-Птица,  
баба —  
арбуз!

Я люблюсь бабой  
и курю.

— Спой-ка мне о таборе,—  
говорю.

— Спой о конях — дугами,  
хвост вдогон,—

говорю,  
а думаю...

о другом.

Цыганка цыкает  
невпопад.

Цедит антрацитный  
отрицательный взгляд:

— Вы мальчонка хрупкий,

не донжуан никак...—  
и подает мне руку.

А рука!  
Пальцы —  
пять сарделек,  
ладонь —  
дамба!  
— Не стесняйся, демон,  
па-  
га-  
да-  
ю!

Рука не меньше лошади.  
Сдавит — жуть.  
Я тяну ладошку  
и дрожу.

---

Вот тебе и табор,  
черт побери!  
Громыхает тамбур,  
что тамбурин!

*1960*



Когда на больших бастилиях  
подводного государства  
мигают, как колебанья,  
вечерние колокола,  
когда потемнеет воздух,  
тогда расставляет море  
беспалые перепонки  
тишины.

И всякая тварь — творенье  
небес, океана, суши —  
тогда, затаив дыханье,  
опускает птенцов в гнездо.  
Темнеет корабль корсара, —  
он гасит огни живые,  
и парус, как беглый ангел,  
на перышках убегает.

Что птица? — небесное тельце.  
Что рыба? — чертеж лекалом.  
Что звери пустынь? — пушинки.  
Корабль со своим бушпритом —  
комарик с невредным жалом.  
Луна — это капля в море,  
ни больше ни меньше — капля  
тишины.

Когда замигает бронзой  
вечерний колокол моря  
и восемь веселых лун  
расставят свои зеркала —  
обманывайся, товарищ! —  
тогда накануне страха  
опущенными парусами  
развлекается тишина.

1966

## ПАРУС

*А. Чвчулину*

Парус парйт! Он планирует близко,  
блещет — шагах в сорока.

Будет ли буря?

Разнузданы брызги,  
злоба в зеленых зрачках!

Будет, не будет, не все ли едино?  
Будет — так будет. Пройдет.  
Жирные птицы мудро пронзают  
рыбу губой костяной.

Передвигаются древние крабы  
по деревянному дну.  
Водоросли ударяются нудно  
туловищами о дно.

Вот удаляется ветреник-парус.  
Верит ли в бурю, бегун?  
Вот вертикальная черточка — парус...  
Вот уж за зримой чертой.

Буря пройдет — океан возродится,  
периодичен, весём,  
только вот парус не возвратится.  
Только-то. Парус.

**И всё.**

1964

## СЕНТЯБРЬ

Сентябрь!

Ты — вельможа в балтийской сутане.

Корсар!

Ты торгуешь чужими судами.

Твой жемчуг — чужой.

А торговая прибылы

Твой торг не прибавит

ни бури,

ни рыбы.

А рыбы в берлогах морей обитают.

Они — безобидны.

Они — опадают.

Они — лепестки.

Они приникают

ко дну,

испещренному плавниками.

Сентябрь!

Твой парус уже уплывает.

На что, уплывая, корсар уповает?

Моря абордажами не обладают.

Лишь брызги, как листья морей, опадают.

Любимая!

Так ли твой парус колеблем,

как август,

когда,

о моря ударяясь,

звезда за звездой окунают колени...

Да будет сентябрь с тобой, удаляясь.

1963

## ПРОЩАНИЕ

Катер уходит через 15 минут.

Здравствуй!  
Над луговиной  
утро.  
Кричат грачи.

Укусишь полынь-травину,  
травина-полынь  
горчит.

И никакого транспорта.  
Тихо.  
Трава горяча.

— Здравствуйте, здравствуйте,  
здравствуйте,—  
у моря грачи кричат.

Там  
по морским пространствам  
странствует столько яхт!  
Пена —  
                  сугробами!  
Здравствуй,  
радостная моя!

Утро.  
Туманы мутные  
тянутся за моря...

Здравствуй,  
моя утренняя,  
утраченная моя!

Вот и расстались.  
Нырятся  
косынка твоя красная  
в травах...

Моя нарядная!  
Как бы там ни было —  
здравствуй!

*1960*



## КУЗНЕЧИК

Ночь над гаванью стеклянной,  
над водой горизонтальной...  
Ночь на мачты возлагает  
купола созвездий.

Что же ты не спишь, кузнечик?  
Металлической ладошкой  
по цветам стучишь, по злакам,  
по прибрежным якорям.

Ночью мухи спят и маги,  
спят стрекозы и оркестры,  
палачи и чиполлино,  
спят врачи и червяки.

Только ты стучишь, кузнечик,  
металлической ладошкой  
по бутонам, по колосьям,  
по прибрежным якорям.

То ли воздух воздвигаешь?  
Маяки переключаешь?  
Лечишь ночь над человеком?  
Ремонтируешь моря?

Ты не спи, не спи, кузнечик!  
Металлической ладошкой  
по пылице стучи, по зернам,  
по прибрежным якорям!

Ты звени, звени, кузнечик!  
Это же необходимо,  
чтобы хоть один кузнечик  
все-таки —

звенел!



А нынче дожди.  
Для ремонта  
растений даны  
и даримы.

Цыплята —  
сырые лимоны —  
играют на лоне долины.

Рычанье в долине скандально  
скота.

Скот —  
как зрители ринга!  
Я понял напевы скитаний  
от карканья до чикчирика.

Я понял напевы скитаний.  
Вот гусеница с гитарой.  
Медведь-матадор с мандолиной.  
Мычит, умиляясь малиной!

Вот волки, вот овцы.  
Вот вечный  
дуэт.

Овцы подняли лапки.  
Они побледнели.  
Овечьи  
поблеивают балалайки.

Дожди и дожди.  
Но повыше,  
там солнечности — завались!  
Еще повещают,  
посвищут  
мои соловьи!





Вдохновенье! —  
июльским утром  
вдох за вдохом вдыхая небо,  
начертать  
        сто поэм  
                        в минуту,  
над блокнотом согнувшись немо.  
А потом  
по бетонным трассам  
зашагать,  
        воспевая трассы  
всем аллюром аллитераций,  
всеми выдохами  
ассонансов,  
чтоб запыхтели ритмы —  
напористые насосы,  
чтоб рифмы,  
        как взмахи  
        бритвы,  
заполыхали на Солнце!

*1960*



Язык  
не бывает изучен.  
Земля не бывает изъезжена.  
Над нами  
созвездья созвучий!  
Под нами  
соцветья черешен!

А перед нами, перед —  
зеленые ромбы гати,  
самумы гагачьих перьев,  
перьев гагачьих!

Сырые следы животных  
поджаривает восток.  
Заводы,  
        заводы,  
                        заводы  
пульсируют, как висок.

Мы высохнем — рано-поздно —  
мы высохнем,  
                        как чернила.

А мир  
всё равно не познан.

Так пусть же птенцы  
чирикают!  
Пусть почки  
дрожат на взводе  
весеннего рубежа!  
Пусть звезды,  
стрекозы-звезды,  
крыльями  
дребезжат!

1960

## СЕГОДНЯ

Какие следы на гудроне  
оставили старые ливни?

Кто ищет гармонию в громе?  
Кто ищет отчетливых линий?

Изгиб горизонта расплывчат.  
Запруды затвердевают.  
Кто ищет счастливых различий  
в звериных и птичьих дебатах?

Над каждой звездой и планетой,  
пусть наиярчайшей зовется,  
над каждой звездой и планетой  
другие планеты и звезды!

И каждая новая эра —  
к смещению прошлых поэтов,  
и новые лавы поэтов  
бушуют, как лавы по Этне!

И самые вечные вещи  
сегодня лишь —  
зримы и явны,  
и Солнце —  
сегодня щебечет!  
и Птицы — сегодня сияют!

Сегодня весна веселится,  
вдыхая озона азы!  
И в солнечном щебете листьев  
зеленые брызги грозы!

1961

## КРАПИВА

У лужайки пена мха,  
как пиво.  
На лужайке даже в мае  
жарко.  
Вымахала с петуха  
крапива.  
Агрессивные вздымала  
жала!  
А мечтала: о ноздрях  
лосиных,  
о коленях оголенных  
женщин,  
чтоб, ни свет и ни заря,  
в лесах,  
в поселеньях, в огородах  
жечь их!  
На болоте мхи кренили  
холжу,  
верещали на гону  
зайчата.  
Так как не было крапиве  
ходу,  
то крапива на корню  
зачахла!  
Занималась над садами  
зона  
голубой зари — наклоном  
к лугу.  
И крапива назидала  
зернам  
жить добрее, экономить  
злобу.

1961

## БЕРЕЗЫ

Бывают разные березы.  
В повалах — ранние березы.  
А на переднем плане —  
дряблые,  
корявые, как якоря.

Бывают черные березы,  
чугунно-красные,  
чернильные,  
горчичные  
и цвета синьки...  
А белых нет берез...

Их красят зори,  
ливни беглые,  
бураны —  
оторви да брось!  
А люди выдумали белые.  
А белых нет берез.

*1961*



## МАЙ

Земля дышала глубоко:  
вдох —

май!

И выдох —

май!

Неслась облава облаков  
на доли и дома.

На кузова автоколонн,  
на лоно площадей,  
за батальоном батальон  
щебечущих дождей  
низринулся!

Устроил гром  
такой трамтарарам,  
как будто весь земной гудрон —  
под траки тракторам!  
Сто молний —

врассыпную,

вкось,

жужжали в облаках,  
сто фиолетовых стрекоз  
жужжали в облаках!

Сползались цепи муравьев,  
и йодом пахла ель.

А я лежал,

прижав свое  
лицо  
к лицу своей  
земли.

Вишневую пыльцу  
над головой мело...

Вот так всегда:  
лицом к лицу,  
лицом к лицу  
с землей!

*1960*





И все озера красные,  
и все тропинки синие.  
Три сосенки — три грации,  
что три казанских сироты.

А мы с тобой  
                                          за пунктами  
совсем не населенными,  
а мы с тобой  
                                          запутались  
в трех соснах.  
                                          Посередке.

А солнце так расщедрилось —  
сверкает, как на выставке.  
А нет  
                                          и нет решения:  
что выбрать нам?  
                                          как выбраться?

Я знаю: будет радостно,  
дожди пойдут, как конница,  
замашут вербы рациями  
белыми.  
                                          Какое там!

Уже давно проверено:  
при самом теплом зареве,  
при самом ярком ветре мы  
запутаемся заново!

*1961*





Там гора,  
а на горе там  
я живу анахоретом,  
по карельским перешейкам  
проползаю с муравьями,  
пожираю сбереженья  
бора, поля и моряны.

Пруд,  
а у  
пруда граниты,  
я живу,  
предохранитель  
от пожаров, от разлуки,  
и поджариваю брюхо,  
и беседую часами  
с колоссальными лосями.

Там леса,  
а на лесах там  
я живу,  
анализатор  
кукареканья медведя,  
кукованья сатаны,  
кряканья болотной меди,  
рева солнечных синиц!

Ну а песни? Очень надо!  
Я давно не сочи-  
няю.

1962





Уже не слышит ухо эха  
потусторонних песен птиц.  
И вороны и воробьи  
и улетели и уснули.  
Уже большие звезды неба  
иллюминировали ели.  
Как новогодние игрушки,  
они висели на ветвях.  
А маленькие звезды леса,  
а светлячки за светлячками  
мигали, как огни огромных  
и вымышленных государств,  
где  
в темноте, как циферблаты,  
фосфоресцировали очи  
обыкновенной птицы филин,  
где  
гусеницы, как легенды,  
распространялись по деревьям,  
где  
на фундаментах стояли  
капитолийские деревья,  
как статуи из серебра,  
где  
бабочки на белых крыльях  
играли, как на белых арфах,  
где  
в молодых созвездьях ягод  
ежеминутно развивались  
молекулы живых существ,  
где  
белокаменные храмы  
грибов  
стояли с куполами  
из драгоценного металла,



где  
так мультипликационно  
шли на вечернюю молитву  
малюсенькие муравьи,  
где  
над молитвой муравьиной  
смеялся спичечный кузнечик,  
но голос у него был мал,  
увы,  
совсем не музыкален.

*1966*



И древний диск луны потух.  
И дискантом поет петух.

Петух — восточный барабан,  
иерихонская труба.

Я знаю: медленен и нем,  
рассвет маячит в тишине,  
большие контуры поэм,  
я знаю,—  
в нем, а не во мне.

Я лишь фонарик на корме,  
я — моментальный инструмент.

Но раз рассвет — не на беду  
поет космический петух.

Петух с навозом заодно  
клюет жемчужное зерно.

В огромном мире, как в порту,  
корабль зари — поет петух!

*1964*



Где готические ели,  
цепи храбрые хвои,  
путешествуют по елям  
дятлы в мантиях Востока.

Там живут живые шишки  
в деревянных париках,  
размышляет о дожде  
белый гриб — Сократ.

Саблезубые собаки  
бегают и лают.  
Поднимаются у зайцев  
царские усы.

По холмам — холодным храмам,—  
как монахини, вороны  
механические ходят  
и вздыхают...

И когда замерзла клюква,  
и тогда взлетели листья.  
О Летучие Голландцы,  
распугали птиц!

Разворачивают парус  
журавли — матросы неба,  
улетают, улетают  
на воздушных кораблях.

*1965*

## ПУШКИН В МИХАЙЛОВСКОМ

Улетели птицы и листья.  
Небеса — водяные знаки.  
По стеклянной теплице ходит  
цапля в белом, как дева в белом.

Однозвучен огонь.  
Мигают  
многоглазые канделябры.  
Ты один. В деревянном доме  
деревянная тишина.

Улетели пчелы и утки.  
В небесах — невидимки-бесы.  
А вчера уползли улитки  
в сердцевину земного шара.

Ты один в деревянном мире.  
Черной молнией по бумаге  
пробегает перо воронье,  
и чернеют черновики.

Пчелы в ульях, улитки в недрах.  
И у птиц опадают крылья.  
Перелетные птицы, где вы?  
Опустели улицы неба.

За стеклянной решеткой ходит  
цапля в белых, как бал, одеждах,  
чертит клювом на мглистых стеклах  
водяные знаки свои.

1965



Бессолнечные полутени.  
В последний раз последний лист  
не улетает в понедельник.  
Вечерний воздух студенист.

Мы незнакомы. Я не знаю,  
ты творчество какой травы,  
какие письменные знаки  
и путешествия твои

какие нам сулили суммы?  
Всё взвесили весовщики.  
В лесу безвременье и сумрак,  
а мы с тобой — временщики.

И пусть. И знаем всё: впустую  
учить старательный статут,  
что существа лишь существуют  
и что растения растут,

что бедный бред — стихотворенья,  
что месяц — маска сентября,  
что деревянные деревья —  
не статуи из серебра,

что, сколько сам ни балансируй  
в бастилиях своих сомнений,  
лес бессловесен и бессилен  
и совершенно современен.

И ты, и ты, моя Латона,  
протягиваешь в холода  
такие теплые ладони,  
и им, как листьям, улетать...

1966



И вот — опять,  
и вот — вниманье,—  
и вот — метели, стражи стужи.  
Я понимаю, понимаю  
мятущиеся ваши души.

Когда хлеба́ ревут: — Мы в теле! —  
Я так спокоен, так неспешен.  
Мои костлявые метели  
придут надежно,  
неизбежно.

Накалом белым,  
как в мартене,  
над всей,  
над повседневной сушей!  
Здорóво, белые метели,  
мои соратники  
по стуже!

1962



Я в который раз, в который  
ухожу с котомкой.

Как ты?  
Где ты?  
В чьей карете  
скоростной катаешься?  
И какие сигареты  
с кем ты коротаешь?

Вот придумал я зачем-то  
самозаточенье.

В сфере северных завес  
снежных  
и сказаний,  
я на каторге словес  
тихий каторжанин.

Буквы тихие пишу,  
в строчки погружаю,—  
попишу,  
подышу  
и продолжаю.

И снежинка —  
белой чайкой  
над окном огромным!  
Чайкой ли?  
Или случайной  
белою вороной?

1963



А ели звенели металлом зеленым!

Их зори лизали!  
Морозы вонзались!  
А ели звенели металлом зеленым!  
Коньками по наледи!  
Гонгом вокзальным!

Был купол у каждой из елей заломлен,  
как шлем металлурга!  
как замок над валом!  
Хоть ели звенели металлом зеленым,  
я знал достоверно:  
они деревянные.

Они — насажденья. Зеленые,  
стынут  
любым миллиграммом своей протоплазмы,  
они — теплотворны,  
они — сердцевинны,  
и ждут не дождутся:  
а может быть — праздник?

1963





Мне и спится и не спится.  
Филин снится и не снится.  
На пушистые сапожки  
шпоры надевает.  
Смотрит он глазами кошки,  
свечки зажигает:  
— Конь когда-то у меня  
был, как бес, крылатый.  
Я пришпоривал коня  
и скакал куда-то.  
Бешено скакал всю ночь,  
за тебя с врагами  
саблей светлой и стальной  
в воздухе сверкая.  
За тебя! Я тихо мстил,  
умно,—

псы лизали  
латы.

Месяц моросил  
светом и слезами.  
Это — я! Ты просто спал,  
грезил,— постарался!  
Просыпайся! Конь пропал.  
Сабля потерялась!

. . . . .

Мне и спится и не спится,  
филин снится и не снится.  
В темноте ни звезд, ни эха,  
он смеется страшным смехом,  
постучит в мое окно:  
— Где мой конь? Кто прячет? —  
Захохочет... и вздохнет.  
И сидит, и плачет.

1969

## ЗИМНЯЯ ДОРОГА

Зимняя сказка!  
Склянки сосулек,  
как лягушата в молочных сосудах.

Время!  
Деревья торчат грифелями.  
Грустный кустарник реет граблями.

А над дорогой — зимней струною —  
звонкое солнце,  
                                ибо стальное.

И, ослепленная красотой,  
птица-аскет,  
                                ворона-заморыш  
капельки снега носит в гнездовье,  
белые капли влаги замерзшей.

1964



В твоих очах, в твоих снегах  
я, путник бедный, замерзаю.  
Нет, не напутал я,— солгал.  
В твоих снегах я твой Сусанин.

В твоих отчаянных снегах  
гитары белое бренчанье.  
Я твой солдат, но не слуга,  
слагатель светлого прощанья.

— Нас океаны зла зальют...  
О, не грози мне, не грози мне!  
Я твой солдат, я твой салют  
очей, как небо, негасимых.

— Каких там к дьяволу услад!  
Мы лишь мелодии сложили  
о том, как молодость ушла,  
которой, может быть, служили.

*1964*

## НАЧАЛО НОЧИ

*М. Евсеевву*

Над Ладогой пылала мгла,  
и следовательно — алела.  
Зима наглела, как могла:  
ей вся вселенная — арена.

И избы иней оросил.  
(Их охраняли кобелями.)  
И ворон,  
                        воин-сарацин,  
чернел,  
                        налево ковыляя.

И кроме — не было ворон.  
С ним некому — в соревнованье.

Настольной лампочки лимон  
зелено-бел.  
Он созревает.

И скрылся ворон...  
                                На шабаш  
шагала ночь в глубоком гриме.

Искрился только карандаш,  
не целиком,  
а только грифель.

1964







Над Ладогой вечерний звон.  
Перемещение водных глыб.  
Бездонное свечение волн.  
Космические блики рыб.

У туч прозрачный облик скал.  
Под ними красная кайма.  
Вне звона различимо, как  
поет комар,  
поет комар!

Мои уключины — аккорд  
железа и весла-меча.  
Плыву и слушаю: какой  
вечерний звон,  
вечерний час!

Озерной влаги виражи  
и музыкальная капель.  
Чего жалеть?

Я жил, как жил.  
Я плыл, как плыл.  
Я пел, как пел.

И не приобретал синиц,  
небесных журавлей не знал.  
Афористичность этих птиц  
смешна.  
А слава не нужна.

Не нужен юг чужих держав,  
когда на ветках — в форме цифр, —

как слезы светлые, дрожат  
слегка пернатые птенцы.

Когда над Ладогой лучи  
многообразны, как Сибирь...  
Когда над родиной звучит  
вечерний звон моей судьбы.

*1964*





Я — заблудился.

На Монмартре  
белел чудовищный собор,  
слепая ваза византийства  
(кто им Париж короновал?),  
как белый ворон, как вития,  
мои молитвы колдовал  
не  
мой собор.

Меня мутило  
(мир — в электрическом огне!).  
Куда вели меня, мой тихий?  
Вы знаете язык. Я — нем!

Я нем, как номер на витрине,  
а на Монмартре их — миллион!  
Куда вели меня, Вергилий?  
В какой Париж?

В бреде моем  
кто мне забрезжит? Где вы, спутник?  
Вергилий в Лувре. Он без сил.  
Он перед истинным искусством  
устало трогает усы.

Туристы — статуи валькирий —  
на цыпочках шли на Монмартр...  
Я видел — вы ушли, Вергилий,  
большой и пасмурный, в туман...

И выбегали манекены.  
О рукоплещущий гарем!  
О элегантные макеты  
с телами нежными, как крем!

У этих дам краснели губы  
смородиною сентября,  
торжественно звучали зубы,  
как клавиши из серебра!

И обнимали на Монмартре  
меня  
за ум и за талант.  
Но холодны, как минералы,  
наманикюрены тела.

Соборы — кактусы в саванне,  
за стеклами машин —  
собаки...

Где люди? Где живые? Где вы?  
Но у людей свои уделы.  
Но у людей свои надежды,  
свои де Голли, свой ажан,  
свои и оды, и одежды,  
и всё — свое!

И я бежал!

. . . . .  
И я бежал, как тень машины,  
по циклопической стене.  
Салоны музыкой манили,  
мигая на одной струне.

Мигали улицы-могилы  
(фонарь карманный нес ажан!).  
Молясь иогам и богиням,  
я, как сомнамбула, бежал!

Очнулся где?  
Где очутился?  
Любимая, чего достиг?  
До смерти мне шага четыре,  
а до тебя мне  
не дойти!

...Дом Радио.  
— Бежишь? Боишься? —  
Не страх, не страх в моей душе.  
Дом этот — камертон Парижа,  
конструкция его ушей!

Я не боюсь, что я подслушан,  
поставят в минус или в плюс,  
дышу похуже ли, получше,  
и ничего я  
не боюсь:  
ни смерти, ни бессмертной славы,—  
за ОСТАЛЬНЫХ боюсь...—  
Скорей!

Дом Инвалидов в лунах слабых  
и, наконец, отель «Кере».

. . . . .  
Вбежал!

Гарсон готов к поклону.  
В мундире неба он. Уют.  
Вергилий мой ходил по холлу,  
Вергилий жаждал интервью,  
он был с магнитофоном тайным,  
он бледен был,  
сказал в упор:  
— О, господи! Да вы не Данте!  
Да вы двойник Эдгара По!

Смеялись. Но изнеможенье  
прошло. Смеялся. А потом,  
не сделав лишнего движенья,  
я только застегнул пальто.

И вышел (воздух был — как уксус!  
луна — как жерло! я — сипай!)  
в безлюдные туннели улиц.  
И пересек бульвар Распай.

1965

## МАРТЫНОВ В ПАРИЖЕ

Вы видели Мартынова в Париже?

Мемориальны голуби бульваров:  
сиреневые луковицы неба  
на лапках нарисованных бегут.  
Париж сопротивляется модерну.  
Монахини в отелях антикварных  
читают антикварные молитвы.  
Их лица забинтованы до глаз.

Вы видели Мартынова в Париже?

Мартынов запрокидывал лицо.  
Я знаю: вырезал краснодеревщик  
его лицо, и волосы, и пальцы.  
О, как летали золотые листья!  
Они летали хором с голубями,  
они, как уши мамонтов, летали,  
отлитые из золота пружины.  
Какие развлеченья нам сулили,  
какие результаты конференций!  
Видения вандомские Парижа!

А он в Париже камни собирал.

Он собирал загадочные кремни:  
ресницы Вия, парус Магеллана,  
египетские профили солдат,  
мизинцы женщин с ясными ногтями.  
Что каждый камень обладает сердцем,  
он говорил, но это не открытье,  
но то, что сердце — середина тела,  
столица тела, это он открыл.  
Столица, где свои автомобили,  
правительства, публичные дома,

растения, свои большие птицы,  
и флейты, и дюймовочки свои...

Был вечер апельсинов и помады.  
Дворцы совсем сиреневые были.  
Париж в вечернем платье был прекрасен,  
в вечернем и в мемориальном платье.

*1965*

## ГОСТИНИЦА „КЕРЕ“

Как теплится  
в гостинице,  
в гостинице-  
грустильнице?  
Довольны потеплением,  
щебечущим динамиком,  
днем полиэтиленовым  
и номером двенадцатым?

Как старится  
в гостинице,  
в гостинице-хрустальнице?  
С кристальными графинами,  
с гардинами графичными,  
с гарсонами военными?

Мы временно,  
мы временно!

Мы воробьи осенние,  
мы северные,  
мы —  
мечтавшие о зелени,  
но ждущие зимы.

1965



Празднуем прекрасный вечер  
с электрической свечой,  
с элегичностью зловещей...

Почему молчит сверчок?  
Свежей песней не сверкает?  
Страхи не свергает?

Мы шампанское «Палермо»,  
помидоры и балык  
пользуем попеременно...  
Пальцы у девиц белы.

Варимся — вороны в супе...  
А сверчок не существует.  
Ни в камине.  
Ни в помине.  
И ни по какой причине.

*1965*





Тише, тише,  
мысли-мыши,  
кот на крыше —  
кыш! кыш!  
Кот-мяука  
ловит муху-  
цокотуху,  
мой малыш!

Тише, тише,  
мысли-мыши...  
Кто на крыше?  
Кыш! кыш!  
Это бесы  
плачут в бедных  
колыбелях,  
мой малыш!

Тише, тише,  
мысли-мыши,  
боги слышат,  
мой малыш!  
Боги эти  
тоже дети,  
а на свете  
лишь тишь...

*1970*

## 18 НОЯБРЯ В ПАРИЖЕ ШЕЛ СНЕГ...

Ты, черный звон,  
вечерний звон,  
кандальный звон  
чернильных строк!  
Ты, влажный звон  
канальных зон,  
звон манекенов и антенн.  
Вон фонари — как чернецы,  
от фар огонь — а не печет...  
А может, это цепи цифр  
звенят над городом:

— Почем  
вечерний звон,  
почем почет  
затверженных чернильных клякс?  
почем ласкательность?  
почем  
вечерний звон любимых глаз?  
Иду без шапки.  
За плечом  
снежинки — цыканье синиц...

Почем шаги мои?  
Почем  
мое отчаянье звенит?

1965

## КВАРТАЛЫ СЕН-ЖЕРМЕН

Поехали  
с орехами,  
с прорехами,  
с огрехами.

Поехали!  
Квадратными  
кварталами —  
гони!

Машина —  
лакированный  
кораблик —  
на огни!

Поехали!  
По эху ли,  
по веку ли,—  
поехали!

Таксер, куда мы мчимся?  
Не слишком ли ты скор?

Ты к счетчику, а числа  
бесчисленны, таксер.  
Что нам Париж гадает?  
Что нам еще искать?

Квадратные кварталы  
и круглая тоска.

*1965*



Во всей вселенной был бедлам.  
Раскраска лунная была.

Там, в негасимой синеве,  
ушли за кораблем корабль,  
пел тихий хор простых сирен.  
Фонарь стоял, как канделябр.

Как факт — фонарь. А мимо в мире  
шел мальчик с крыльями и лирой.  
Он был бессмертьем одарен  
и очень одухотворен.

Такой смешной и неизвестный  
на муку страха или сна  
в дурацкой мантии небесной  
он шел и ничего не знал.

Так трогательно просто (правда!)  
играл мой мальчик, ангел ада.

Все было в нем — любовь и слезы  
(в душе не бесновались бесы!),  
рассвет и грезы, рок и розы.  
Но песни были бессловесны.

Душа моя. А ты жила ли?  
Как пес, как девушка, дрожа...  
Стой, страсть моя. Стой, жизнь желаний.  
Я лиру лишнюю держал.

В душе моей лишь снег да снег.  
Там транспорт спит и человек.  
Ни воробьев и ни собак.  
Одна судьба. Одна судьба.

1969



И ко сну отошли рекламы.

Фонари,

фонари трехглавы:

Так и есть — фонари трехглавы:  
две зеленых, над ними желтая  
голова.

Ночь дремуча.

Дома дремучи.

И дремучие головешки —  
бродят маленькие человечки,  
и ныряют в свои кормушки,  
разграфленные по этажам,  
и несут иконы в кормушки,  
мельтешась.

Купола, минареты, маковки  
в ожидании мятежа!..

Бродят маленькие человечки:  
головы — головешки.

Выбирают,

во что поверить?

Сколько веяний... поветрий...

*1961*



На светлых стеклах февраля  
блеск солнца замерцал.  
У фонаря, у фонаря  
мой ангел замерзал.

И ни двора и ни кола!  
Он в небесах устал.  
Совсем сломались два крыла,  
и он уже упал.

Во всей вселенной был бедлам.  
Работали рабы.  
Лишь лира лишняя была,  
и он ее разбил.

А мог он получить полет  
в прекрасных небесах.  
Сначала он разбил ее,  
потом разбился сам.

Рассвет фигуры февраля  
в пространство удалял.  
У фонаря, у фонаря  
мой ангел умирал.

Лишь бог божился: «Надо жить!»  
(Он, публика, умна!)  
О ни дыханья, ни души  
на улицах у нас.

Ни бог страниц не написал  
ни о добре, ни зле,  
ни ненависти к небесам  
и ни любви к земле.

Оттаивали огоньки  
по спальням для спанья.  
В теснинах страха и тоски  
все спали. Спал и я.

Какой-то ангел (всем на смех!)  
у фонаря сгорел.  
Я спал, как все. Как все, во сне  
я смерть — свою — смотрел.

*1969*



Знал я и раньше,  
да и недавно,  
страх страницы...  
Рассказать разве,  
как над Нотр-Дамом —  
птицы, птицы.

Рассветал воздух,  
воздух звезд. Луны  
уплывали.  
Транспорт пил воду  
химии. Люди  
уповали.

Про Париж пели  
боги и барды  
(ваша — вечность!).  
Ведь у вас — перлы,  
бал-баллады,  
у меня — свечка.

И метель в сердце —  
наверстай встречи!  
Где моя Мекка?  
В жизни и смерти  
у меня — свечка,  
мой значок века,  
светофор мига,  
мой простой праздник,  
рождество, скатерть...  
Не грусти, милый,  
всё — прекрасно,  
как — в сказке.

Гении горя  
(с нашим-то стажем!),



мастера муки!  
Будь же благ, город,  
что ты дал даже  
радость разлуки.

Башенки Лувра,  
самолет снится,  
люди — как буквы,  
лампочки — луны,  
крестики — птицы...  
Будь — что будет!

*1969*



Мы плыли уже семь дней,  
семь дней мы плыли.  
И не было ни силуэта,  
ни слова в тумане,  
и не было ни небес, ни беспокойства,  
ни «здравствуй» и ни «прощай»  
ни в прошлом, ни завтра.

Плыви, наш корабль, плыви,  
плывем, товарищ,  
такая тоска — туман,  
страна немая.  
Вся наша судьба — туман,  
как мрамор, белый,  
где не было ничего,  
что не бывало.

*1966*

## ДЕТСКАЯ ПЕСЕНКА

Спи, мой мальчик, мой матрос.  
В нашем сердце нету роз.  
Наше сердце — север-сфинкс.  
Ничего, ты просто спи.

Потихоньку поплывем,  
после песенку споем,  
я куплю тебе купель,  
твой кораблик — колыбель.

В колыбельке-то (вот-вот!)  
вовсе нету ничего.  
Спи. Повсюду пустота.  
Спи, я это просто так.

Сигаретки-маяки,  
на вершинах огоньки.  
Я куплю тебе свирель  
слушать песенки сирен.

Спи, мой мальчик дорогой.  
Наше сердце далеко.  
Плохо плакать, — все прошло,  
худо или хорошо.

1969

## ЭХО

Солнце полное палило,  
пеленая цитрус.  
Нимфа Эхо полюбила  
юного Нарцисса.

Кудри круглые. Красавец!  
Полюбила нимфа.  
Кончиков кудрей касалась,  
как преступник нимба.

А Нарцисс у родника,  
вытянут, как пика,  
в отражение вникал  
собственное пылко.

У Нарцисса — отрешенье.  
От себя в ударе,  
целовал он отраженье,  
целовал и таял.

Как обнять через полоску  
дивное создание?  
Он страдал и не боролся  
со своим страданьем.

— Я люблю тебя,—  
качал он  
головой курчавой.  
— Я люблю тебя,—  
кричала  
нимфа от печали.

— Горе! — закричал он.  
— Горе! —  
нимфа повторила.

Так и умер мальчик вскоре.  
В скорби испарился.

Плачет нимфа и доньне.

Родники, долины,  
птицы плачут, звери в норах,  
кипарис тенистый.

Ведь неплачущих немного.  
Есть.  
    Но единицы.

С тех времен для тех, кто любит  
и кого бросают,  
запретили боги людям  
громкие признанья.

Если невзначай польются  
слезы от предательств,—  
запретили боги людям  
громкие рыданья.

Даже если под мечами —  
помни о молчачье.

Ведь в любви от века к веку  
так. Такой порядок.  
Пусть не внемлет нимфа Эхо.  
Пусть не повторяет.

*1964*

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ПИГМАЛИОНА

*М. Борисовой*

Теперь — тебе: там, в мастерской, маски,  
тайник и гипс, и в светлячках воздух,  
ты Галатею целовал, мальчик,  
ты, девочка, произнесла вот что:

«У нас любовь, а у него маски,  
мы живы жизнью, он лишь труд терпит,  
другую девушку — он мэтр, мастер! —  
ему нетрудно, он еще слепит».

Так лепетала ты, а ты слышал,  
ты пил со мной и ел мои сласти,  
я обучал тебя всему свыше,  
мой мальчик, обучи ее страсти.

Мой ученик, теперь твоя тема,  
точнее — тело. Под ее тогой  
я знаю каждый капилляр тела.  
Ведь я творец. А ты — лишь ты. Только

в твоей толпе. Теперь — твоя вежа!  
И молотками — весь мой труд, трепет,  
и молотками — мой итог века! —  
«Ему нетрудно, он еще слепит!»

Теперь — толпе; я не скажу: «Стойте!»  
Душа моя проста, как знак смерти.  
Да, мне нетрудно, я слеплю столько  
скульптуры — что там! будет миф мести!

Теперь убейте. Это так просто.  
Я только тих. Я только в труд — слепо.  
И если бог меня лепил в прошлом,  
Ему нетрудно, он еще слепит.

1970

## ГОМЕР

### 1

На небеса взошла Луна.  
Она была освещена.

А где-то, страстен, храбр и юн,  
к Луне летел какой-то Лун.

Не освещенный, не блистал.  
Он лишь летал по небесам.

Сойдутся ли: небес канон —  
она и невидимка — он?

### 2

Там кто-то ласточкой мелькнул.  
Там кто-то молнией мигнул.

Кузнечик плачет (все во сне!).  
И воет ворон в вышине.

Чей голос? Голосит звезда,  
или кукушка без гнезда?

Овчарня — овцам. Совам — сук.  
Когтям — тайник. Копытам — стук.

Ах, вол и волк! Свободе — плен.  
Льду — лед. А тлену — тлен и тлен.

И за слезу в последний час  
как семь потов — в семь смертных чаш!

### 3

И вот — кристаллики комет...  
Кому повем, кому повем,  
не злой, не звонкий я, поэт,  
и зло и звон моих поэм?

Иду под пылью и дождем,  
как все — с сумою и клюкой,  
ничто не жжет, никто не ждет,  
я лишь ничей и никакой.

Нет, я легенд не собирал,  
я невидимка, а не сфинкс,  
я ничего не сочинял,  
Эллада, спи, Эллада, спи.

Спи, родина, и спи, страна,  
все эти битвы бытия,  
сама собой сочинена,  
ты сочинила, а не я.

Что на коне, что на осле,  
мне все едино — мир и миг,  
и что я слеп или не слеп,  
и что я миф или не миф.

*1970*



## ИСПОВЕДЬ<sup>3</sup> ДЕДАЛА

В конце концов признанья — тоже поза.  
Придет Овидий и в «Метаморфозах»  
прославит имя тусклое мое.  
Я — лишь Дедал, достойный лишь Аида,  
я лишь родоначальник дедалидов,  
вятелей Афин и всех времен.

В каком-то мире, эллинов ли, мифов,  
какой-то царь — и Минос, и не Минос,  
какой-то остров — Крит или не Крит.  
Овидий — что! — Румыния, романтик,  
я вовсе не ваятель, — математик.  
Я Миносу построил лабиринт.

Всё — после: критских лавров ароматы,  
Тезей и паутинка Ариадны,  
Тезея-Диониса маета,  
Плутарха историческая лира  
о быко-человеке Лабиринта,  
чудовище по кличке Минотавр.

Всё — после. Миф имеет ипостаси.  
Я не художник. Я — изобретатель.  
Лишь инструменты я изобретал:  
топор, бурав и прочие,  
а кроме —  
пришел на скалы, где стоял Акрополь  
и где — я знал! — стоял художник Тал.

Там он стоял. В сторонке и отдельно  
в темнеющей от вечера одежде,  
ладони рук, приветствуя, сомкнул.  
Я поприветствовал и, обнимая  
и постепенно руки отнимая,  
отпрянул я! И со скалы столкнул.

Сын брата моего и мой племянник,  
для девушек — химера и приманка,  
для юношей — хулитель и кумир,  
мечтатель мальчик с мышцами атлета,  
вождь вакханалий с мыслями аскета,  
которого учил я и кормил,

которого ни слава не манила,  
ни доблести. И не было мерила  
в его судьбе — сама собой судьба.  
Животное и труженик. Неверно —  
«раб творчества» или «избранник неба»,  
всё проще — труд избранника-раба.

Как я убил? Известно как. Извольте:  
на скалах водоросли и известка,  
он поскользнулся и упал, увы!  
Кто и когда вот так не оступался?..  
Я счастлив был. Но как я ошибался!  
Я не его — я сам себя убил.

Они меня ни в чем не обвиняли,  
и добросовестные изваянья  
мои — кирками! под ступени плит!  
Был суд. И казнь. Я клялся или плакал.  
Был справедлив статут ареопага.  
Я струсил смерти. Я сбежал на Крит.

И как волна эгейская играла!  
Всё после — Минос, крылья, смерть Икара...  
Не помню или помню кое-как.  
Но идолопоклонники Эллады  
про Тала позабыли, а крылатость  
мою  
    провозгласили на века.

Смешные! Дети-люди! Стоит запись  
в истории оставить всем на зависть,  
толпа в священном трепете — талант!  
И вот уже и коридоры Крита,  
и вот мои мифические крылья,  
«да несудим убийца: он — крылат!».

Орфеев арфы и свирелей ноты,  
орлы небес и комары болота,—

хохочет Хронос — судороги скул!  
Кому оставить жизнь — какой-то розе  
или фигуре Фидия из бронзы?  
Не дрогнув сердцем, говорю: цветку.

Он, роза, жив. Отцвел и умирает.  
А Фидий — форма времени, он — мрамор,  
он — только имя, тлен — его талант.  
Ни испупленья нет ему, ни чувства,  
а то, что называется «искусство»,  
в конце концов — лишь мертвые тела.

Кто архитектор, автор Пирамиды?  
Где гении чудес Семирамиды?  
О Вавилонской башни блеск и крах!  
Где библии бесчисленных отечеств?  
Переселенье душ библиотеки  
Александрийской?

Всё, простите, прах.

Не оглянись, художник. Эвридика  
блеснет летучей мышью-невидимкой,  
и снова — тьма. Ни славы, ни суда.  
Ни имени. И все твои творенья  
испепелит опять столпотворенье.  
Творец — самоубийца навсегда.

Всё, что вдохнуло раз, — творенье Геи.  
Я — лишь Дедал. И никакой не гений.  
И никакого нимба надо мной.  
Я только древний раб труда и скорби.  
Искусство — икс, не найденный, искомый,  
И никому бессмертья не дано.

1970

# ГАМЛЕТ И ОФЕЛИЯ

## ФРАГМЕНТ

*Д. Корольнову*

### ГАМЛЕТ

Неуютно в нашем саду,  
соловьи да соловьи.  
Мы устали жить на свету,  
мы погасим свечи свои.

Темнота, тихо кругом,  
лает пес, теплится час.  
Невидимка-ангел крылом  
овекает небо и нас.

Неуютно в нашем дворце,  
всё слова, Гамлет, слова.  
И сидит в вечном венце  
на твоём троне сова.

Это рай или тюрьма?  
Это блеск или луна?  
В небесах нежная тьма,  
Дух Святой, дьявол она.

Неуютно в наших сердцах,  
целовать да целовать.  
Уплывем завтра, сестра,  
в ту страну, где благодать.

### ОФЕЛИЯ

Где страна, где благодать?  
Благо дать — и умереть.  
Человек — боль и беда.  
Только — быть, и не уметь

умереть. Быть — целовать,  
целый век — просто пропеть.  
Целый век быть — благо дать,  
целовать и не успеть

умереть. В нашем саду  
лишь пчела с птицей поют,  
лишь цветы, лишь на свету  
паучки что-то плетут

да летят искры стрекоз,  
ласки сна, тайны тоски.  
В золотых зарослях роз  
лепестки да лепестки.

Ты потрогай — рвется струна,  
Аполлон требует стрел.  
Этот знак «сердце — стрела»  
устарел, брат, устарел.

Не струна, а тетива,—  
или их, или себя!  
Этот сад весь в деревьях,  
огнь и меч их истребят.

## ГАМЛЕТ

Про деянья или про дух,  
про страданья или про страх.  
Вот и вся сказка про двух —  
жили-были брат и сестра.

В той стране, в той голубой  
(журавли не долетят!),  
там была только любовь,  
у любви — только дитя.

До зари звезды дрожат.  
Вся цена жизни — конец.  
Ты послушай: дышит душа —  
бьется, бьется в теле птенец.

Их любовь слишком светла.  
Им Гефест меч не ковал.  
Жили-были брат и сестра,  
и никто их не карал.

Ничего нет у меня —  
ни иллюзий и ни корон,  
ни кола и ни коня,  
лишь одна родина — кровь.

1970

## ПЕСНЯ ОФЕЛИИ

Столетье спустя, в январе,  
был маленький храм.  
Святители на серебре,  
нехитрый хорал.

Свеча и алтарь. В тайнике  
там ангел стоял.  
И лира на левой руке,  
и благословлял.

О волосы бел ковыли!  
Молитвы слагал  
про тех, кто повел корабли  
в снега и снега.

Как радостно было у нас,  
когда над свечой,  
как маленькая луна,  
блестел светлячок.

Столетье спустя и еще  
с востока пришли  
какие-то люди с мечом  
и люди с плетьюми.

Они обобрали наш храм,  
алтарь унесли.  
И юношей (вот и хорал!)  
на торг увели.

Совсем отгорела свеча,  
лишь сторож-фантом  
ходил, колотушкой стучал,  
да помер потом.

*1970*

## БАЛЛАДА РЕДДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ

(Оскар Уайльд. *Вольный перевод*)

Не в алом, атласном плаще,  
с алмазной пряжкой на плече,  
костляв, как тауэрский нож,  
он пьян и ранен был,  
когда в нечаянную ночь  
любимую убил.

Над Лондоном луна-монокль,  
а Лондон подо льдом.  
Летает рыба надо мной  
вся в нимбе золотом.  
Летает рыба. Клюв, как шпиль,  
мигает на мильоны миль.

Ты, рыба, отложи яйцо.  
Яйцо изымет лорд.  
Он с государственным лицом  
детеныша убьет.  
Для комплекса добра и зла,  
мой сэр, еще сыра земля.

Мы знаем этот шар земной,  
сие жемчужное зерно,  
где маразматика семьи  
блудливы, но без сил,  
где каждый человек земли  
любимую убил...

На нас начальник налетал.  
Он бил бичом и наблюдал,  
чтоб узник вежливо дышал,  
как на приеме принц,  
чтоб ни луча, ни мятежа,  
ни человеческих лиц.

В наш административный ад  
и ты упал, Уайльд.





один убьет, а сам в слезах,  
другой — и не вздохнет.

Один — за нищенский матрас,  
другой — за денежный маразм...  
Убийцы,

старцы и юнцы —  
ваш нож!

без лишних льгот!  
Ведь остывают мертвецы  
безвредно и легко.

Над мертвецами нет суда,  
не имут сраму и стыда,  
у них на горле нет петли,  
овчарок на стенах,  
параши в камере, поли-  
ции в бесцельных снах.

Им не осмысливать лимит  
мерзавцев, названных людьми  
(один — бандит, другой — слюнтяй,  
четвертый — негр параш),  
они следят, следят, следят,—  
и не молись, не плачь.

Нам не убить себя. Следят  
священник и мильон солдат,  
Шериф, тяжелый, как бульдог,  
и нелюдимый без вина,  
и губернатор-демагог  
с ботинками слона.

Не суетиться мертвецам —  
у Стикса медленно мерцать,  
им не напяливать белье,  
белье под цвет совы,  
не наблюдать, как мы блюем  
у виселиц своих.

Нас, как на бойню бедных кляч,  
ведет на виселицу врач,  
висят врачебные часы —  
паук на волоске,  
пульсируют его часы,  
как ужас на виске.

Идут часы моей судьбы  
над Лондоном слепым.  
Не поджидаю день за днем  
ни оргий, ни огней.  
Уж полночь близится  
давно,  
а гения всё нет.

Что гений мне? Что я ему?  
О, уйма гениев!  
Уму  
над бардаком не засверкать  
снежинкой серебра,  
будь гениальнее стократ  
сам — самого себя!

Ты сказку, сказку береги,  
ни бесу, ни себе не лги,  
ни бесу, ни себе не верь,  
не рыцарствуй на час,  
когда твою откроет дверь  
определенный час.

Он примет формулу твою:  
— Чем заняты Вы, сэр? —  
Творю.

По сумме знаний он — лицей,  
по авантюрам — твой собрат,  
как будто бы в одном лице  
Юл Бриннер и Сократ.

Он в комнату мою проник,  
проникновенный мой двойник.  
Он держит плащ наперевес,  
как денди дамское манто...  
Но ты меня наперерез  
не жди, мой матадор.

Я был быком, мой верный враг,  
был матадором,  
потому  
свой белый лист, как белый флаг,  
уже не подниму.

А в вашем вежливом бою  
с державной ерундой  
один сдается,— говорю,—  
не бык —  
так матадор.  
Ваш бой — на зрительную кровь,  
на множественную любовь,  
ваш бой — вабанками мелькнуть  
на несколько минут.  
Мой бой — до дыбы, до одежд  
смертельно-белых,  
напролом,  
без оглушительных надежд,  
с единой — на перо.

Уходит час...  
Идут часы...  
моей судьбы мои чтецы.  
Уходит час, и в очереди,  
пока сияет свет,  
час каждый — чудо из чудес,  
легенда из легенд!

Но вот войдут червивый Врач  
и премированный Палач.  
Врач констатирует теперь  
возможности связать меня...  
Втолкнут за войлочную дверь  
и свяжут в три ремня.

1965



Разлука звериного лая со страхом совиным,  
разлука рассвета со звездами в красной воде,  
ты, память моя,—  
ты разлука  
цепей с целым царством — рабовладением сна.

Когда опустеют все тюрьмы последнего сердца,  
тогда ты поймешь:  
мир прекрасен одними скорбями скорбей,  
не узник тоскует в тюрьме —  
это тюрьмы тоскуют в разлуке,  
и смерть это вовсе не смерть,  
а разлука со смертью своей.

Спасибо.

За все фонари, за дожди нефтяные, ночные...

*1966*

# ФАНТАЗИИ СОВЫ

## 1

Полночь протекала тайно,  
как березовые соки.  
Полицейские, как пальцы,  
цепенели на углах.  
Только цокали овчарки  
около фронтонов зданий  
да хвостами шевелили,  
как холерные бациллы.  
Дрёма. Здания дремучи,  
как страницы драматурга,  
у которого действительность  
за гранями страниц.  
Три миллиона занавесок  
загораживало действие.  
Три миллиона абажуров нагнетало дрему.  
Но зато на трубах зданий,  
на вершинах водосточных  
труб,  
на изгородях парков,  
на перилах, на антеннах —  
всюду восседали совы.  
Это совы! Это совы!  
Узнаю кичливый контур!  
В жутких шубах, опереньем наизнанку, —  
это совы!  
Улыбаются надменно, раздвигая костяные  
губы,  
озаряя недра зданий  
снежно-белыми глазами.

## 2

На антенне, как отшельница,  
взгромоздилась ты, сова.  
В том квартале — в том ущелье —  
ни визитов, ни зевак.



В тихом и темном рыданье — ни зги.  
Слезы большие встают на носки.  
Вот указательный палец ноги —  
будто свечу — зажигает...

4

Мундир тебе сковал Геракл  
специально для моей баллады.  
Ты, как германский генерал,  
зверела на плече Паллады.

Ты строила концлагерей  
концерны.

Ты! Не отпирайся!  
Лакировала лекарей  
для опытов и операций.

О, лекарь догму применял  
приветливо, как примадонна.  
Маршировали племена  
за племенами  
в крематорий.

Мундир! Для каждого — мундир!  
Ребенку! Мудрецу! Гурману!  
Пусть мародер ты, пусть бандит,—  
в миниатюре ты — германец!

Я помню всё.  
Я не отстану  
уничтожать твою породу.  
За казнь —  
и моего отца  
и всех моих отцов по роду.

С открытым ли забралом,  
красться  
ли с лезвием в зубах,  
но — счастье  
уничтожать остатки свастик.

1963



Прощай, Париж!  
Летают самолеты,  
большое небо в красных параллелях,  
дожди, как иностранные солдаты,  
идут через Голландию в Берлин.

Прощай, Париж!  
Я не приеду боле  
туда, где листья падают, как звезды,  
где люстры облетают, как деревья,  
на улицы квартала Бабилон.

Прости за то, что миллион предчувствий  
в моей душе, как в башне Вавилона,  
прости мои монгольские молитвы,  
монашество мое и гамлетизм.

Прости за то, что не услышал птиц,  
моя душа — вся в красных параллелях.  
Кто мне сулил исполненное небо?  
Такого неба нет и не бывало.

Как убывают люди и минуты!  
Атлантов убаюкали моллюски.  
Как я умру, не зная, кто из граждан  
мне в уши выливал яд белены?

Прощай, прощай и помни обо мне...

1965





Ты уходишь,  
как уходят в небо звезды,  
заблудившиеся  
дети рассвета,  
ты уходишь,  
как уходят в небо  
на кораблики похожие птицы.

Что вам в небе?  
Наша мгла сильнее снега.  
Наше солнце  
навсегда слабее сердца.  
А кораблик  
журавля на самом деле —  
небольшое  
птичье перышко, не больше.

~~Моя мечта.~~

Отпускаю, потому что  
опустели  
сентябри моими журавлями.  
До свиданья.  
До бессонных сновидений,  
до рассвета,  
заблудившегося в мире.

1966



## МУЗЫКАНТ

*А. Нушнеру*

Как свечи белые, мигала тишина.  
Из крана капала и капала луна,  
такая маленькая, капала теперь,  
из крана капала и таяла в трубе.

Как свечи белые, маячили в ночи  
так называемые лунные лучи,  
а та луна, а та небесная была  
в кружочках цифр, как телефонный циферблат.

Совсем иные, иноземные миры,  
висели звезды, как бильярдные шары.  
В бубновых окнах лица женщин и мужчин  
чуть-чуть прозрачнее, чем пламя у свечи.

Я был в неясном состоянье перед сном.  
Я был один, и был один старик со мной.  
Но был он в зеркале, таинственный старик:  
в шампанских бакенбардах современный лик.

Он делал пальцами, как делает немой.  
Как свечи белые, мигали у него  
немые пальцы. Этот мученик зеркал  
на фортепьяно что-то странное играл.

Мою чайковскую луну и облака,  
как Дебюсси, он в си бемоли облакал,  
то патетические солнца и латынь  
он мне, слепцу, мой музыкальный поводырь.

Еще старик играл такое попури:  
— Все это было — твой Парнас и твой Париж,  
но ты не жил и не желал,  
увы и ах!  
существованье музыканта — в зеркалах.

Лишь в зеркалах твои сожженные мосты,  
молитвы мутные, минутные мечты.  
Я — тварь земная, но нисколько не творю,  
я лишь доигрываю музыку твою.

Мы — Муки творчества. Нас ждет великий суд.  
У нас, у Муков, уши длинные растут.  
Но наши уши постепенно отцвели,  
спасает души повседневный оптимизм.

Я презираю мой му-чительный талант...  
А по мостам ходили белые тела.  
Как свечи белые, маячили в ночи  
тела одетые у женщин и мужчин.

Играл орган в необитаемых церквах.  
Его озвучивали Гендель или Бах.  
Фонарик в небе трепетал, как пульс виска.  
И в небе с ним — необъяснимая тоска.

О музыкант, какой ты ни бери бемоль,  
минорный край твой есть, как мания, немой.  
О музыкант, ты музыкант в своем числе!

О поводырь, как и ведомые, ты слеп.  
Взойдет ли солнце, очи выела роса.  
Как водяные знаки, бедные глаза.  
О музыкант, меня ты не уговорил.  
Ты улыбнулся и на улицу уплыл.  
Так ты уплыл. Но я нисколько не скорблю:  
большое плаванье большому кораблю.

1965

**IV**



## ЗА ИЗЮМСКИМ БУГРОМ

За Изюмским бугром  
    побурела трава,  
был закат не багров,  
    а багрово-кровав,  
желтый, глиняный грунт  
от жары почернел.

Притащился к бугру  
богатырь печенег.

Пал ничком у бугра  
в колосящийся ров,  
    и урчала из ран  
    черно-бурая кровь.

Печенег шел на Русь,  
    в сталь  
    и мех наряжен,  
только не подобру  
    шел —  
    с ножом на рожон,  
не слабец и не трус,—  
    получился просчет...  
И кочевнику Русь обломала плечо.

Был закат не багров,  
    а багрово-кровав.  
За Изюмским бугром  
    побурела трава.

Солнце  
    четкий овал  
    задвигало за гать.

Печенег доживал  
свой последний закат.

1959

## У ПОЛОВЕЦКИХ ВЕЖ

Ну и луг!  
И вдоль и поперек раскошен.  
Тихо.  
Громкие копыта окутаны рогожей.  
Тихо.  
Кони сумасбродные под шпорами покорны.  
Тихо.  
Под луной дымятся потные попоны.  
Тихо.  
Войско восемь тысяч, и восемь тысяч  
доблестны.  
Тихо.  
Латы златокованы, а на латах отблески.  
Тихо.  
Волки чуют падаль,  
приумолкли волки.  
Тихо!  
Сеча!  
Скоро сеча!  
И — победа,  
только...  
ТИХО...

1959



## РОГНЕДА

На Днепре  
апрель,  
на Днепре  
весна  
волны валкие выкорчевывает.  
А челны  
черны,  
от кормы  
до весла  
просмоленные, прокопченные.  
А Смоленск  
в смоле,  
на бойницах  
крюки,  
в теремах горячится пожарище.  
У Днепра  
курган,  
по Днепру  
круги,  
и курган  
в кругах  
отражается.  
Во курган-  
горе  
пять бога-  
тырей,  
груды в шрамах — военных отметинах,  
непробудно спят.  
Порубил супостат  
Володимир родину Рогнедину.  
На передней  
короге  
в честь предка  
Сварога  
пир горой — коромыслами дымными.



## СКОМОРОХИ

В белоцерковном Киеве

такие

скоморохи —

поигрывают гирями,  
торгуют сковородками,  
окручивают лентами  
округлых дунек...

И даже девы бледные  
уходят хохотуньями  
от скоморохов,  
охают

в пуховиках ночью,  
ведь ночью очень плохо  
девам-одиночкам.

Одним,

как ни старайся,  
тоска, морока...

И девы пробираются  
к ско-

морхам.

Зубами девы лязгают  
от стужи.

Ночи мглисты.

А скоморохи ласковы  
и мускулисты,  
и дозволяют вольности...

А утром,

утром

у дев уже не волосы

на лбу,

а кудри

окутывают клубом

чело девам,

у дев уже не губы —

уста рдеют!

Дождь сыплется...

Счастливые,  
растрепанные, мокрые,  
смеются девы:

— В Киеве  
такие скоморохи!

1959

## КАЛИКА

Посох тук-тук...  
Плетется калика,  
посох тук-тук...  
в портянках плетеных,  
посох тук-тук,  
стихарь да коврига,  
посох тук-тук,  
у калики в плетенке.

За плечом  
летописные списки  
о российских  
ликующих кликах.

Напевая  
стишок  
византийский,  
вперевалку  
плетется калика.

Над каликой  
гогочут вприсядку  
дядьки-ваньки  
и девки-нахалки,  
и кусают  
калику за пятки  
шелудивые псы-зубоскалы.

Посох тук-тук  
по сухому суглинку,  
посох тук-тук  
по кремнистому насту.  
Непутево  
плетется калика.  
Ничего-то  
калике не надо.

1959



## 1111 ГОД

Между реками, яругами, лесами,  
переполненными лисами, лосями,  
сани,

сани,

сани,

сани,

сани,

сани...

Наступают неустанно россияне.

Под порошей пни, коренья  
нетелесны,  
рассекают завихренья  
нити лезвий.

На дружинниках меха —  
баранья роба.

На санях щиты поставлены  
на ребра.

Шустро плещутся плащи по перелескам.  
Даже блестящие снеговые

в переплеске,

от полозьев —

только полосы на насте...

Как бояре взъерепенились на князя:

— Ты, Владимир Мономах,

мужик не промах:

ты казну и барахло оставил дома,

ты заставил нас покинуть

жен, халупы,

обрядить свою холопину

в тулупы.

Где ж добыча, князь? Морозы-то —

не охнуты!

Все в сугробах половецких передохнем!

Разъярился Мономах:  
— Чего разнылись?  
Разве сани не резвы  
и не резные?  
Разве сабли не заточены на шеях?  
Так чего же вы разнюнились,  
кощеи?  
Не озябли вы, бояре,  
не устали,—  
вам давненько по ноздрям не попадало! —

Тяжела у Мономаха шапка-ярость!  
Покрутив заледенелыми носами,  
приумолкли пристыженные бояре...  
Между реками, яругами, лесами  
снова —

сани,  
сани,  
сани,  
сани,  
сани.

Наступают неустанно россияне.

1959



## НА ВОЛГЕ

Вот и рядом.  
Чаяли — простимся.  
Рассвело,  
и рядом проще стало...

Правда,  
ты печальной Евфросиньей  
обо мне в Путивле причитала?

Я тогда  
не поводил и усом,  
посвист копий  
да охоту чтил.

Думал —  
не вернусь,  
а вот вернулся  
через восемь сотен лет почти.

Разве мы  
в своей судьбе студеной  
не прошли тревожные азы?

Дождик-дождь, старательный садовник!  
Нет,  
но нам не миновать грозы.

Разве нам впервой  
река — отчизна,  
а сухая плоскодонка — дом?  
Разве нам впервой  
иголки-брызги  
собирать,  
а завтракать дождем?

Ты припомни:  
на реке Каяле,  
той реке общеславянской боли,  
мы стрелой из ялика  
карали  
княжичей, перебежавших в Поле  
в непогодь Руси...

Теперь — не надо.

Нет и нет, как нет реки Каял.

Есть — туман.

В тумане — лодка наша,  
как и ты, плывущая, и я.

А повсюду,  
сбрасывая перья,  
птицы улетают цифрой «семь»...  
Есть ладонь твоя —  
твое доверье,  
нами позабытое совсем.

1961

## СМЕРТЬ БОЯНА



За городом Галичем,  
на перепутье, харчевня.  
Для панства —  
                                 харчевня,  
а простонародью —  
                                 корчма.  
И русич, и лях, и турпей —  
неумытый кочевник —  
отыщут в харчевне  
любое питье и корма.

На прочную ногу —  
скамьи из точеного бука —  
поставил харчевню  
еврей-весельчак Самуил.  
То флейтой зальется,  
то филином зычно аукнет...  
Гогочут пьянчуги, вздымая усы:  
— Уморил!

Давненько не хаживал  
к весельчаку иудею  
соратник Бояна,  
                                 хоробр новгородский Поток.  
Хозяин угодлив:  
склоняя оплывшую шею,  
подносит сивуху,  
                                 арбуз  
                                 и куриный пупок.

А гости,  
                         а гости,  
                         а гости печатают песню,  
отменную песню,  
что слово — то конника топ.  
Хозяин доволен:





Взойди в мой дом, и ты увидишь, как  
посмешище — любой людской уют,  
там птицы (поднебесная тоска!)  
слова полузабытые поют.

Мой дом, увы, — богат и, правда, прост:  
богат, как одуванчик, прост, как смерть.  
Но вместо девы дивной, райских роз  
на ложе брачном шестикрылый зверь.

И не завидуй. Нет у нас, поверь,  
ни лавра, ни тернового венца.  
Лишь на крюке для утвари твоей  
мои сердца, как луковки, висят.



Дождь идет никуда, ниоткуда,  
как старательная саранча.  
Капли маленькие, как секунды,  
надо мною звучат и звучат,

не устанут и не перестанут,  
суждены потому что судьбой,  
эти капли теперь прорастают,  
может, деревом, может — тобой.

Воздух так водянист и рассеян.  
Ты, любимая,  
мы — воробьи.

В полутьме наших птиц и растений  
я любил тебя или убил?

Пусть мне всякий приют — на закланье!  
Поводырь, меня — не доведи!  
Ворон грянет ли, псы ли залают, —  
веселись! — восвояси! — в дожди!

Дождь идет всё сильнее, всё время,  
племена без ветрил, без вождя.  
Он рассеет печальное племя,  
то есть каждую каплю дождя.

Где я? Кто я? Куда я? Достигну  
старых солнц или новых тенет?

Ты в толпе торопливых дождинок  
потеряешь меня или нет?

Мечу мой чист. И призванье дано мне:  
в одиночку — с огульной ордой.  
Я один. Над одним надо мною  
дождь идет. Дождь идет. Дождь идет.

### ПЕРВАЯ МОЛИТВА МАГДАЛИНЕ

На ясных листьях сентября  
росинки молока.  
Строения из серебра  
сиреневы слегка.

Ты помни обо мне, о нем,  
товарище чудес.  
Я вижу вина за окном.  
Я вовсе не воскрес.

Я тень меня. Увы, не тот.  
Не привлекай кликуш.  
Не объявляй обильный тост.  
Мария! Не ликуй.

Я тень. Я только дух себя.  
Я отблеск отчих лиц.  
Твоя наземная судьба  
для юношей земли.

Тебе заздравье в их сердцах.  
Не надо. Не молись.  
И что тебе в такой сентябрь  
сомнения мои!

Твой страх постыден в день суда.  
Оставим судьям страх.  
А я? Что я?! Не сострадай,  
несчастливая, сестра.

Их жизнь — похлебка, труд и кнут,  
их зрелища манят.  
Они двуногий свой уют  
распяли — не меня.

Сестра! Не плачь и не взыщи.  
Не сострадай, моя.  
Глумятся надо мной — молчи,  
внимательно молясь.

Но ты мои не променяй  
сомнения и сны.  
Ты сказку, сказку про меня,  
ты сказку сочини.



О чем плачет филин?

О том, что нет неба,  
что в темноте только  
двенадцать звезд, что ли.

Двенадцать звезд ходят,  
игру играют,  
что месяц мышь съела,  
склевал его ворон.

Унес ворон время  
за семь царств счастья,  
а в пустоте плачет  
один, как есть, филин.

О чем плачет филин?

Что мир мал плачу,  
что на земле — мыши,  
все звезды лишь — цепи...

Когда погас месяц,  
и таяло солнце,  
и воздух воздушен  
был, как одуванчик,

когда во все небо  
скакал конь красный  
и двадцать две птицы  
дневных смеялись...



Что так плакал филин,  
что весь плач птичий —  
бессилье бессонниц,  
ни больше ни меньше.

## ОБРАЩЕНИЕ

Подари мне еще десять лет,  
десять лет,  
да в степи,  
да в седле.

Подари мне еще десять книг,  
да перо,  
да кнутом  
да стегни.

Подари мне еще десять шей,  
десять шей  
да десять ножей.

Срежешь первую шею — живой,  
срежешь пятую шею — живой,  
лишь умоюсь водой дождевой.  
А десятую срежешь —  
мертв.

Не дари оживляющих влаг  
или скоропалительных солнц,—  
лишь родник,  
да сентябрь,  
да кулак  
неизменного солнца.  
И всё.

*1960—1963*





# КОРШУНЫ

## 1

И севрюжины скрежещут  
жабрами.

Гнусы,  
жабы женятся над сваями.  
Жаворонок, жаворонок,  
жаворонок

глупый,  
для кого тебе названивать?  
Жаворонок, ты наивный  
жаворонок,  
песенник заоблачный,  
надветренный,

оглянись —  
вон воронье пожаловало,  
воронье колыхнется  
над вербами.

Черное, гортанное, картавое,  
воронье колыхнется  
над падалью.

По оврагам племена  
татарские  
жрут арбузы, лебедей  
и паленицы.

Племена  
жрут пламенно и жарко,  
а вожди  
завязывают вожжи.  
Жаворонок,  
эх ты, птаха жаворонок!  
Глупый,  
не звони ты,  
надорвешься.

А коршун слепо  
над полем плавал.  
Владимир слева.  
Димитрий справа.

Конница копытами копает целину.

Пылюка над кибитками подобна колуну.

А коршун сдал  
книзу руль.  
Слева Орда,  
справа Русь.

Рушатся ордынцы под щитами-караваями.  
раненые головы руками закрывая.

И коршун понял:

бой потух.

И рычал над полем красный Тур.

Рога — что крылья ласточки.

Рычал он, Тур насупленный,

над кровяными кляксами

и над костями зазубренными.

И поскакали списки

правд и врак

до самых, до Каспийских

Железных Врат,

о том, что Русь обратно

на взлете грив.

О! Горе Цареграду!

Беснуйся, Рим!

Обратно возродится

русская крамола.

И трусят ордынцы

к Лукоморью.

Не бывать вину

у них во рту.

Больше не вернуться

им в Орду.

Шелк, и узорочья, и атлас

в русских позолоченных котлах,

блюда, кольца, золото,

жемчуга.

О, ордынцам солоноі

Женщин гам.

Голосят татарки —

нет ребят.  
Трубы янтарные  
не трубят.

3

На реке Непрядве  
прядали ушами  
кони.

Ело брагу  
войско из ушатов.

На реке Непрядве,  
черной, как неправда,  
собирались братья,  
но не для парада.

Говорил Владимир  
Дмитрию Донскому:

— Наша слава дымна,  
а убитых сколько! —

Отвечал Димитрий:

— Поклонимся князям.

Слава не дымится.

Княжья слава — красна! —

Потрясал Владимир  
кулачищем медным:

— Наша слава дымна,  
поклонимся смердам.—

Над Москвой-рекою  
питиё, веселье,  
купола рокочут,  
серебрятся серьги.

Княжичи, как смерклось,  
по луне стреляли.

Смерд остался смердом,  
с кашей,  
с костылями.

4

Бом-бом колокольный.

Маки — кулаки.

Над полем Куликовым  
плачут кулики.

Ржавеют у калиток  
лезвия косцов.

Охрипшие калики  
плачут у крестов.  
Бом-бом колокольный.  
Кому шелка? Харчи?  
Над полем Куликовым  
грабители-грачи.  
По клеверам по белым  
раненые, бред.  
Если бы победы!  
Не было побед.

Если бы за Доном  
выигрышный бой,  
Только —

вдовы,  
вдовы,

сироты и боль.

Если бы не враки!

В рваных тетивах

ходит по оврагам

с ножами татарва...

Над полем Куликовым

стебли трав — столбом

Бом-бом колокольный,

бом,  
бом,  
бом...

## СОДЕРЖАНИЕ

### I

Человек и птица . . . . .	5
1. Ворона . . . . .	5
2. Мальчик . . . . .	6
3. Ворона и мальчик . . . . .	7
Мой дом . . . . .	10
Музыка . . . . .	11
Первая капля . . . . .	12
«Цветет жасмин...» . . . . .	13
Дворник . . . . .	14
Полночь . . . . .	15
Трамвай . . . . .	17
Будильник . . . . .	18
«Фонари опадают...» . . . . .	19
«И дождь прошел...» . . . . .	20
Летний сад . . . . .	22
«Комнату нашу оклеили...» . . . . .	23
Октябрь . . . . .	24
Первый снег . . . . .	25
«Снег летит...» . . . . .	26
Студенческий каток . . . . .	27
Аллеи . . . . .	29
Гололедица . . . . .	30
Узоры . . . . .	32
«Багровый снег, багровый снег...» . . . . .	34
Пушкинские Горы . . . . .	35
1. Заблужденье . . . . .	35
2. Аллея Керн . . . . .	36
3. 29 января 1837 года, 2 часа 45 минут пополудни . . . . .	36
4. Святогорский монастырь . . . . .	38
«Сколько используешь калорий...» . . . . .	40
Сад . . . . .	41

### II

Когда нет луны . . . . .	45
Поэма . . . . .	46
«Розы — обуза восточных поэтов...» . . . . .	46
«О чем скорбели пескари...» . . . . .	47
«Так давно это было...» . . . . .	48
«А крикливые младенцы...» . . . . .	50
«В страницах клумбовой судьбы...» . . . . .	52
«Я не верю дельфинам...» . . . . .	52
«Когда от грохота над морем...» . . . . .	54
Новороссийская ночь . . . . .	55
Рожденье . . . . .	56
Старик и море . . . . .	58
Фонтан слез . . . . .	61
Трактористка . . . . .	64
«Когда на больших бастилиях...» . . . . .	66
Парус . . . . .	67
Сентябрь . . . . .	68
Пощанье . . . . .	69



Кузнечик . . . . .	71
«А нынче дожди...» . . . . .	72
«Вдохновенье! — июльским утром...» . . . . .	74
«Язык не бывает изучен...» . . . . .	75
Сегодня . . . . .	76
Крапива . . . . .	77
Березы . . . . .	78
Май . . . . .	79
«В часы весенних произволов...» . . . . .	81
«И все озера красные...» . . . . .	82
«Ты на Ладоге — что льдинка...» . . . . .	83
«Там гора, а на горе там...» . . . . .	84
Красные листья . . . . .	85
«Уже не слышит ухо эха...» . . . . .	86
«И древний диск луны потух...» . . . . .	88
«Где готические ели...» . . . . .	89
Пушкин в Михайловском . . . . .	90
«Бессолнечные полутени...» . . . . .	91
«И вот — опять...» . . . . .	92
«Я в который раз, в который...» . . . . .	93
«А ели звенели металлом зеленым!» . . . . .	94
«Мне и спится и не спится...» . . . . .	95
Зимняя дорога . . . . .	96
«В твоих очах, в твоих снегах...» . . . . .	97
Начало ночи . . . . .	98

### III

«Над Ладогой вечерний звон...» . . . . .	101
Фрагменты . . . . .	103
Мартынов в Париже . . . . .	107
Гостиница «Кере» . . . . .	109
«Празднуем прекрасный вечер...» . . . . .	110
«Тише, тише...» . . . . .	111
18 ноября в Париже шел снег . . . . .	112
Кварталы Сен-Жермен . . . . .	113
«Во всей вселенной был бедлам...» . . . . .	114
«И ко сну отошли рекламы...» . . . . .	115
«На светлых стеклах февраля...» . . . . .	116
«Знал я и раньше...» . . . . .	118
«Мы плыли уже семь дней...» . . . . .	120
Детская песенка . . . . .	121
Эхо . . . . .	122
Продолжение Пигмалиона . . . . .	124
Гомер . . . . .	125
Исповедь Дедала . . . . .	127
Гамлет и Офелия. Фрагмент . . . . .	130
Гамлет . . . . .	130
Офелия . . . . .	130
Гамлет . . . . .	131
Песня Офелии . . . . .	132
Баллада Реддингской тюрьмы. (Оскар Уайльд. Вольный перевод) . . . . .	133
«Разлука звериного лая со страхом совиным...» . . . . .	138
Фантазии совы . . . . .	139

1. «Полночь протекала тайно...» . . . . .	139
2. «На антенне, как отшельница...» . . . . .	139
3. «Раз-два! Раз-два!» . . . . .	140
4. «Мундир тебе сковал Геракл...» . . . . .	141
«Прощай, Париж!..» . . . . .	142
«Ты уходишь...» . . . . .	143
Письмо . . . . .	144
Музыкант . . . . .	145

## IV

За Изюмским бугром . . . . .	149
У половецких веж . . . . .	150
Рогнеда . . . . .	151
Скоморохи . . . . .	153
Калика . . . . .	155
Застольная новгородских мятежников . . . . .	156
1111 год . . . . .	157
На Волге . . . . .	159
Смерть Бояна . . . . .	161
«За городом Галичем...» . . . . .	161
«Я всадник. Я воин. Я в поле один...» . . . . .	163
«Завидуешь, соратник, моему...» . . . . .	163
«Дождь идет никуда, ниоткуда...» . . . . .	164
Первая молитва Магдалине . . . . .	165
«О чем плачет филин?..» . . . . .	166
Обращение . . . . .	167
Пльсков . . . . .	168
Коршуны . . . . .	170
1. «И севрюжины скрежещут жабрами...» . . . . .	170
2. «А коршун слепо...» . . . . .	171
3. «На реке Непрядве...» . . . . .	172
4. «Бом-бом колокольный...» . . . . .	172

Виктор Александрович Соснора

## СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор Н. А. Чечулина. Художник И. А. Корнилова. Художественный редактор И. З. Семенов. Технический редактор Г. В. Преснова. Корректор Э. Г. Поварская

ИБ № 594

Сдано в набор 12/VII 1976 г. Подписано к печати 20/IV 1977 г. М-23604. Формат 84×100<sup>1/32</sup>. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 8,58+вкл. Уч.-изд. л. 6,36+0,03=6,39. Тираж 25 000 экз. Заказ № 660. Цена 74 коп.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 67.

